



Н.С. ЛЕСКОВ



Николай Семёнович Лесков

Юдоль

Содержание

#1	0006
I	0011
II	0015
III	0026
IV	0032
V	0040
VI	0053
VII	0063
VIII	0071
IX	0078
X	0084
XI	0096
XII	0118
XIII	0126
XIV	0131
XV	0134
XVI	0142
XVII	0144
XVIII	0153
XIX	0161
XX	0169
XXI	0175
XXII	0179
XXIII	0184
XXIV	0190

XXV0196
XXVI0200

Николай Лесков
Юдоль
Рапсодия

*Совеща Бог смирится горе и юдолиям
исполнится в равень земную.
Варух, V, 7.*

Теперь (с наступлением весны 1892 года) мы можем сказать, что мы очень благополучно пережили крайне опасное положение, какое подготовили нам наше плохое хозяйство и неурожай прошлого лета!.. Беда сошла с рук сравнительно легко. Страдания поселян, описываемые корреспондентами современных изданий, конечно были велики и, как говорят, – «вопиют к небу»; но «ужас» впечатления, какое эти описания производят, очень слаб в сравнении с тем, что сохраняет в несвязных отрывках память о прошлых голодовках, когда не было никакой гласности и никакой общественной помощи людям, «избывавшим от глада».

О том, что было при исторических голодовках, упоминаемых в летописях и истории, то более или менее известно по тем описаниям, но у нас были голодовки в позднейшей поре, которую в литературе принято именовать «глухою порою», – и они не описыва-

лись, а потому воспоминания об этих голодовках, хотя и не очень обстоятельные, думается, были бы не излишни.

Сотрудник одной из нынешних петербургских газет, посетивший неурожайные местности России зимою 1892 года, имел случай беседовать о той поре с известным старожилом Орловской губернии – помещиком и владельцем знаменитого хрустального завода генералом С. И. Мальцевым, и «генерал, помнящий старинные голодовки», в разговорах с упомянутым писателем «удивлялся, как мы далеко ушли вперед». В удивлении этом он отмечал то, что «теперь о голоде говорит вся Россия, и раньше всех на него указало само правительство». Не то было сорок – пятьдесят лет тому назад. Тогда также случались неурожайи, но о них могли знать лишь министры да разве сама голодающая масса. «Я тогда, – говорил генерал Мальцев, – представил проект обеспечения народного продовольствия. Император Николай Павлович весьма сочувственно отнесся к проекту; и я решил напечатать его, но *ни одна типография* не согласилась взять мою рукопись для набора...» Гене-

ралу «удалось напечатать свой проект только благодаря покровительству принца Петра Георгиевича Ольденбургского». (См. *Неделя*, 19 апреля 1892 г., № 16.)

С такими необыкновенными усилиями мог быть напечатан сорок лет тому назад «проект» о мерах против голода в народе; но описаний, как люди переживали этот голод, совсем не могло появиться в печати, и, что еще удивительнее, – их вероятно никто и не писал, потому что они не появлялись даже и в последующие за тем годы, когда положение русской печати стало сравнительно немножко свободнее.

Во время страшного по своим ужасам «голодного (1840) года» я был ребенком, но однако я кое-что помню, – по крайней мере по отношению к той местности, где была деревенька моих родителей – в Орловском уезде Орловской же губернии. Значительно более того, что я помню из тогдашнего времени, как непосредственный свидетель событий, я слышал многое после от старших, которые долго не забывали ту голодовку и часто обращались к этому ужасному времени со своими воспо-

минаниями в рассказах по тому или другому подходившему случаю.

Разумеется, все эти нынешние *мои* воспоминания охватывают один небольшой район нашей ближайшей местности (Орловский, Мценский и Малоархангельский уезды) и отражаются в моей памяти только в той форме, в какой они могли быть доступны «барчуку», жившему под родительским крылом, в защищенном от бедствия господском доме, – и потом воспоминания эти так неполны, бессвязны, отрывочны и поверхностны, что они отнюдь не могут представить многостороннюю картину народного бедствия, но в них все-таки, может быть, найдется нечто пригодное к тому, чтобы представить хоть кое-что из тех обстоятельств, какими сопровождалась ужасная зима в глухой, бесхлебной деревеньке сороковых годов.

Словом, я решился набросать на бумагу то, что уцелело в моей памяти о давней голодовке, относящейся к той поре, о которой упомянул генерал Мальцев, и, приступая к этому, я вперед прошу у моих читателей снисхождения к скудости и отрывочности моего описа-

ния. Я предлагаю только то, что могу вспомнить и о чем теперь можно говорить бесстрастно и даже с отрадою, к которой дает возможность наш нынешний благополучный выход из угрожавшей нам беды.

Воспоминания мои будут не столько воспоминания об общей голодовке 1840 года, сколько частные заметки о том, что случилось голодною зимою этого года в нашей деревеньке и по соседству.

Первыми предвозвестительницами горя – как это ни странно – были старухи, которые видели нехорошие сны. Это началось с половины великого поста. Самую страшную сновидицею была наша птичница, гордая женщина из вольных однодворок, по имени Аграфена Петровна. Я помню, как отец один раз, придя к столу, за которым все мы сидели у вечернего чая, сказал матери, что сейчас, когда он распорядился работами, староста Дементий объявил ему, что мужики боятся сеять «яровые», потому что птичница Аграфена и другие старухи на деревне «прорекают голод» и поэтому страшно, что семена в земле пропадут.

– Но ведь это глупо! – возразила мать.

Отец пожал плечами и ответил:

– Да; это неразумно, но я не могу, однако, забыть, что во время большого неурожая в мое детство у нас об этом тоже заговорили еще перед весной, и притом также с бабьего голоса, а потом и в самом деле вышел неурожай. Мужикам я, разумеется, не позволю не

сеять ярового, и если они не захотят, то я засею их поля собственными семенами и потом из будущего урожая отберу у них семена назад. Я уж это объявил Дементию и приказал ему, чтобы повестил сновидящим старухам, которые станут прорекать о голодном годе, что я этих пророчиц отряжу на всю весну индейт и утят от коршунов караулить. А тебе советую о том же самом построже сказать Аграфене, так как она всем этим пророчествам, говорят, самая главная заводчица.

Матушка была характера скорого и нетерпеливого: она сейчас же велела позвать к себе Аграфену с тем, чтобы спросить ее: отчего она начала пророчествовать голодный год, и потом сказать ей, чтобы более не пророчила.

А как я и брат мой и старшая сестра были в это время уже просвещены грамотою и знали по «Ста четверем священным историям», что пророчество есть «свыше посылаемый дар дивный и таинственный», то нам, разумеется, было в высшей степени любопытно знать, как этот дар спустился на нашу Аграфену и как наша мать возбранит к ней этому дару.

Аграфена же и сама по себе была личность интересная и пользовалась во дворе особыми правами, присвоенными ей превосходством рождения, возвышавшего ее среди совершенно бесправных крепостных людей. Аграфена, как сказано, была из людей вольных и вышла замуж за нашего крепостного сапожника Абрама, который вскоре умер, оставив ей двух детей: сына Егорку и дочь Василису, или Васёнку, которой теперь только исполнилось четыре года. Оба они, как рожденные от крепостного отца, были «крепки своему владельцу». Со смертью мужа Аграфена могла от нас удалиться, но ради любви к своим «крепостным» детям оставалась при них и служила как крепостная, но, в отличие от крепостных «понёвниц», она носила красную юбку, какие в нашем месте носили однодворки, а крепостные не носили. Кроме того, Аграфена была честна и горда – она не сносила ни малейшего подозрения и считала себя вправе вступить за свою честь.

Ее надо было все «гладить по головке», – иначе она грубила.

Так случилось и тут, когда матушка позва-

ла ее не в урочное время из ее жаркой птичьей избы в покои.

Аграфена пришла недовольная и нехотя отвечала на вопросы, предложенные ей для претекста о сколотнях и пахтанье, а когда матушка спросила ее: «Какие ты видишь сны?» – Аграфена отвечала ей:

– Какие приснятся.

– А зачем же ты голод пророчишь?

– А отчего же не пророчить? Вестимо уж, что когда хлеба не будет, так голод будет.

Да почему?.. Что тебе снится... что делается?

– Что ни снится и что ни делается, а все теперь будет к голоду, и я с детьми пропаду... уйду отселена. И слава те господи! – отвечала Аграфена и ничего более не пояснила, а между тем слова ее тут же были поддержаны обстоятельствами.

Приближалось Благовещение, когда у нас было в обычае печь при церквах «черные просвиры» из ржаной муки, подсеянной на чистое сито. Муку эту приходское духовенство собирало с прихода, и за сбором этим разъезжал на своей лошади высокий старый дьячок, имя которого я теперь позабыл, но его все называли «Аллилуй». Он во всем причте пользовался авторитетом по церковному хозяйству и обыкновенно перед праздниками обметал веником иконостас и собственноручно мыл пол в алтаре и чистил лампы, и под его же надзором усердные бабы *пообещанию* вымывали полы в остальной церкви; он же и «отстреливал голубей», которые прилетали на колокольню и марали колокола; а его дьячиха – престарелая «Аллилуева жена», пекла «благовещенские просвиры», о которых надо сказать два слова в объяснение.

«Благовещенские просвиры» – это совсем не то же самое, что обыкновенные просфоры, которые изготовлялись для проскомидии. Проскомидийные просфоры изготовлялись из

пшеничной муки «нарочитою просфорнею» (вдовицею) и делались высокенькие, столбушками, по общепринятому образцу, и печатались «именословною печатью» на верхней корке, а эти – благовещенские – делались просто «кулабушками» или «катышками» из «черной», сборной муки и уподоблялись настоящим просфорам только тем, что наверху у них тоже оттискивалась именословная печать. Они не требовались каким-либо церковным правилом, а только допускались, или, точнее сказать, были терпимы во уважение «крепкой привычки народа».

Люди требовали, чтобы эти просфоры сыпали в толпу сверху с колокольни, и в толпе их ловили руками – кто только схватит.

При этом разгуливалась сила и удадь: просвиры не «по чести», а «силом» брали – «кто сколько вырвет», а оттого людям этот обычай нравился.

Просфорня-вдовица «благовещенских просвир» печь не могла, потому что она была старушка слабенькая и вымесить в деже большой раствор была не в состоянии. А потому она ездила только собирать на просвиры и

приходила с печатью их «знаменить», но ставила их и выдělывала Аллилуева жена.

Никаким обычаям и правилам это было не противно.

В этот год Аллилуй по обыкновению объехал с просфорнею прихожан и собрал муки и променял ее у мельника на муку одинакового размола (так как из сборной муки разного поля и неровного размола печь неудобно, потому что она неровно закисает и трудно подходит), а затем Аллилуева жена растворила в деже муку и ночью подбила тесто, которое всходило прекрасно, как следует, а еще после затопила печь и перед тем, как наступила пора разваливать тесто и «знаменать просвиры печатью», пошла звать учрежденную вдовицу, у которой была печать; но едва она вышла со своего двора, как увидела мужа, беспокойно бежавшего к дому священника, с лицом до неузнаваемости измененным от ужаса. Дьячиха окликнула мужа и хотела его расспросить, но он сердито замахал на нее обеими руками и еще сильнее напрягся бежать к Ипполитову дому. Но так как Аллилуева жена была родом из Севского уезда, где уже есть «глу-

ховский дух поведенции», то есть уже ощущается малороссийский обычай женского господства в семействе, то она забыла, зачем шла, а переняла Аллилуя на пути и сказала:

– Это еще что за новости! Или я тебе не законная жена? Говори, что случилось!..

Аллилуй отвечал, что случилась беда.

– А какая?

– А такая, что баба-дулеба стала, вымывши амвон, начисто воду спускать, да раскатилась и вся до половины сквозь двери в алтарь просунулась...

– Кто же это видел?

– Никто кроме меня не видал.

– Ну так и иди с господом богом, – отпусти баб и займися сам один каким-нибудь делом посерьезнее, а на это и язык прикуси.

– Хорошо, – отвечал Аллилуй, – дай мне чепурушечку выпить, и я взаправду послушаю тебя – прикушу язык.

Дьячиха налила ему чепурушечку, и Аллилуй подкрепился и пошел опять к храму, а жена его тоже, поправясь маленькой чашечкой, вышла вместе с ним и отправилась к учрежденной вдовице – звать ее «знаме-

нить». Тут они тоже между собою покалякали, и когда вышли вдвоем, имея при себе печать на знаменования, то Аллилуева жена на половине дороги к дому вдруг услышала ни на что не похожий удар в несколько младших колоколов и тотчас же увидала людей, которые бежали к колокольне и кричали: «Аллилуйя разбился!»

Несчастливая женщина бросилась туда и нашла своего мужа простертым на земле и при последнем издыхании: он лежал не дыша, с закатившимися под лоб глазами и с окровавленным ртом, из которого торчал синий кусочек закусенного зубами языка.

Дело произошло так, что Аллилуйя, не желая более видеть неловких деревенских баб, пошел исполнять другую работу и хотел очистить засиженные птицами колокола; он делал это, держась за веревочки и стоя сапогами на перилах, с которых он покачнулся, упал и разбился до смерти. Пришел священник, отец Ипполит, по фамилии Мирдаров, — дал Аллилуйю так называемую «глухую исповедь», а потом положил ему в рот причастие и тут же сразу прочел ему и отходную.

Все это было делом непродолжительным, но и химический закон в деже с растворенною мукою тоже не медлил и совершал безостановочно свое дело: назначенное для благовещенских просфор тесто ушло из дежи и расплозлось по полу. В него только ноги перепачкали люди, принесшие Аллилуево тело, а просфор печь было не из чего... Весь приход остался без просфор, а это составляло случай в жизни крестьян небывалый, потому что у нас все были люди набожные и ни один крестьянин не выходил сеять без того, чтобы у него в «севалке», то есть в круглой лубочной коробке с зернами, не было благовещенской просфоры.

Теперь же первый раз приходилось сеять без просфор, а это добра не обещало. Притом случай с бабой-дулебой, которая просунулась в алтарь, тоже огласился: Аллилуева жена, когда стала в голос «причитать» над мужниной могилой, выдала всенародно всю тайну своего пагубного самовластия и раскричала на весь крещеный мир, что муж ее Аллилуй был человек праведный и не хотел утаить, что «дулеба» в алтарь просунулась, а она его

отвела от этого, и за то господь покарал ее праведно: взял от нее совсем к себе на тот свет Аллилуя.

Тут, узнав этакую вещь от Аллилуевой жены, ахнуло и все приходское христианство, и были такие мнения, что бабу-дулебу надлежит убить за то, что она «в елтарь сунулась»; но дулеба, к счастью, скоро об этом услышала и хорошо собою распорядилась, потому что пристала к беглым, проходившим «в вольный Николаев град», бывший тогда для многих русских людей «градом убежища». Этим дулеба спасла людей от греха, а себя от преждевременной смерти. Во всяком же случае люди были окончательно обескуражены как тем, что у них в приходе «баба в елтарь вскочила», так и тем, что после этого пришлось сеять без просвир, – даром это в судьбах мира пройти не могло, – и предчувствия, что год предстоит «голодный», стали переходить в уверенность.

О том, что предстоящее лето может принести хороший урожай, с мужиками нельзя было и спорить: они веровали, что год будет голодный, и не хотели сеять ни овса, ни гречи, ни проса.

– Для чего сеять, когда все пропадет, и семян не сберешь!

В нескольких господских имениях такое упорство крестьян было строго наказано; но мужики претерпевали, но не сеялись; кое-где они «скрыли семена», побросав их в мешках в картофельные ямы или овины, или спустили в подполья изб и в другие скрытные места.

Мой отец к крутым, понудительным мерам не обращался, то есть «людей не стегал», как говорили мужики, но он настоял на том, что крестьяне должны были вспахать свои участки земли в яровых клинах и засеяли их выданными им заимообразными семенами, с обязательством возвратить семена из урожая. Но возвращать было не из чего: просфорное тесто ушло недаром – никакого урожая не было. Все посеянное пропало.

И как пропало! с какою-то злою ирониею или с насмешкою, «точно шут сшутил».

Взошло все густо и сильно, включилось так, что уже на Юрьев день (23 апреля), когда скот выгнали первый раз с образами в поле, земля была укрыта сплошною рослою зеленью, – и зелень была такая ядреная, что ею не

только наедались досыта тонкогубые овцы, но и коровы прибавили от себя удою. К Вознесеньеву дню грач в темно-синих озимых зеленях прятался, и сообразно тому «князем восходил» брошенный «в грязь» овес и поднимались из земли посеянные злаки, как вдруг в то время, когда наступила пора рассаживать на грядках выращенную в рассадниках капусту, стали слышаться жалобы, что «стало сушить». Рассаду и другие огородины «отливали водой», которую таскали на себе в худых ведрах бабы, а ребяташки в кувшинчиках; но «было не отлиться» – сушь «лубенила землю», и послышалось ужасное слово:

– Сожгло!..

Тут, увидев беду, «ударилась к богу», начали «звать попов и служить на полях молебны».

Каждый день молебствовали и выносили образа, то на озимые хлеба, то на яровые, но засуха стояла безотменно.

Стали обращаться к колдунам и знахарям – к доморощенным мастерам черной и белой магии, из которых одни «наводили» что-то наговорами и ворожбою на лист глу-

хой крапивы и дули пылью по ветру, а другие выносили откуда-то свои обглоданные избенными прусаками иконки в лес и там перед ними шептали, обливали их водою и оставляли ночевать на дереве, – но дождя все-таки не было, и даже прекратились росы.

Беда становилась неминуемою... Провозглашено было «покаяние» и объявлен запрет на всякие удовольствия и радости.

Веревки на вислых качелях, на улице, закинули вверх, чтобы не качались; не позволяли девкам «водить танкъ» и «играть (петь) песни»; били ребят, которые играли в казанкъ и в свайку. Только один пастух, «косолапый Фонька», имел право «вызывать на дудке», но и его самодельная липовая дудка, вызывая коров, издавала слишком унылые и неприятные звуки: это заметили, должно быть, сами коровы и не шли на вызов косолапого Фоньки, потому что он уже давно их обманывал и выгонял их на поле, на котором им нечего было взять.

В народе стало усиливаться мрачное озлобление: мужья ни за что и ни про что били жен, старики обижали ребят и невесток, и

все друг друга укоряли хлебом, и один на другого всё призывали «пропасть»: «О, нет на вас пропасти!»

Явилась и она, явилась «пропасть» – совершилось общественное преступление.

Пришел откуда-то «незнамый человек»; переночевав у мужичка, он послушал рассказов о горе-злосчастии от бездождия и сказал, что он это дело знает, – что в этой беде попы не помогут, а надо выйти в поле с зажженной свечой, сделанной из сала опившегося человека, «схороненного на распутье дорог, без креста и без пастыря».

«Незнамый человек» был запаслив, и в сумке у него как раз оказался огарок такой свечи, какая требовалась. Прежде она была у него длинная, но он ее уже «пожег во многих местах», где было такое же бездождие, и везде будто там «дожди пролили».

Захожему собрали с мира яиц и шесть гривен денег и пошли с ним «молитвить» на поле ночью.

Он «читал Отчу» и еще какую-то молитву, и «махал навкрест» зажженной свечой из человеческого сала, и велел к утру ждать росы, а «со полден тучи», – но только чтобы «ей не мешать», а то она может поворотить в другую сторону.

Затем этот человек тут же и ушел темной ночью.

Росы к утру не было, но о полднях небо потемнело и начало будто тучиться. Вскоре и в самом деле за Долгим лесом, принадлежавшим соседнему имению, стало густеть и появилась туча, но какая-то удивительная: вышла и стала на одном месте и дальше не двигалась.

Три мужика, бывшие на поле, долго не могли понять причину, почему туча не шла далее, но, наконец, догляделись и поняли.

Этому виноват был Егор Кожиён – шорник, который ходил по деревням со своею работою. Он был хороший мастер и отлично шил шлеи и хомуты, но человек был необстоятельный и на выработанные деньги пьянствовал иногда с таким великим усердием, что пропивал с себя все, и внутри себя утрачивал весь разум, и тогда страдал от разнообразных страхов, беспокойно разыгрывавшихся в его воспаленном мозгу.

Более всего пьяного Кожиёна преследовал «черный бык», который обыкновенно стремился на него откуда-то издалеча и все хотел

поднять его на рога и перекинуть через свою спину в тартарары.

Увидав этого хронически преследовавшего врага, Егор Кожиён сейчас же от него бежал куда глаза глядят, но бык вдруг неожиданно опять появлялся перед ним впереди, и тогда Кожиён останавливался в ужасе, трясяся, махал руками и кричал: «Тпружь! тпружь!» Если ему удавалось увернуться, то он бросался в противоположную сторону, а как и там тоже появлялся тот же самый призрак его болезненного воображения, то шорник метался по полям из стороны в сторону до тех пор, пока где-нибудь бык его настигал, и тогда Кожиён старался уж только о том, чтобы пасть ему между рогами и обхватить руками его за шею.

Это было отчаянное, но единственное средство спасения, которое уже не раз избавляло Кожиёна от смерти на рогах чудовища. Как он, бывало, заляжет у быка между рог, так тот его носит на голове, пока измается, и тогда сбросит его на землю, а сам убежит, а Кожиён после выпится, чувствует себя как после качки на море и «кунежнтся» – ищет, чтобы его пожалели: «Преставьте, – просит, – меня либо

к матери божией – она мне заступница, либо пойдёмте в кабак – мне целовальник в долг даст».

Его находили недостойным вести к образу и обыкновенно отводили в кабак, где он опохмелялся у знакомого целовальника и поправлялся.

То же самое заходило у него и теперь, когда его заметили в поле три мужика, наблюдавшие тучу за Долгим лесом. Егор в ужасе бежал от своего быка и махал на него руками, крича: «Тпружь! тпружь!»

Он бежал теперь как раз против тучи, и ни к кому прямее, как к ней, относились его отгоняющие крики и жесты и... его не стало.

О ту пору, как с Кожиёном это в последний раз случилось, на том же поле, где был он и три мужика, случились еще две небольшие крестьянские девочки, которые пришли на заросшую между ломать полынь для веников. Завидев скакавшего и кричавшего Кожиёна, девочки испугались и залегли в полынь и видели, как Кожиён упал на между и как к нему тут же вскоре подошли три мужика и подняли его и старались поставить его на ноги, но

он не становился, а плакал и голосил: «Ведите меня к божией матери!» Тогда третий мужик взял Кожиёна за ноги, и все втроем они шибко пронесли его в лес, где есть густо заросший овраг, и там сразу произошло какое-то несогласие, и Кожиён навздрых закричал: «За что меня лобаните?..» И с тем все утихло, а потом мужички к ручейку спустились и у того ручья мыться стали.

Перепуганные же девчонки всё на меже в полыни сидели до вечера, притаившись как зайчики, и сами себе не могли сказать – чего они испугались; а когда солнце стало заходить за тот самый лес, куда унесли Кожиёна «лобанить», – девчонкам сделалось «еще больше ужасно», и они выскочили и бросились бежать в деревню без веников, за что их встретили с строгостью – оттрепали за косы и пообещали еще «выдрать крапивою», отчего они и умолкли, чтобы не навлечь на себя чего-нибудь еще худшего.

Так Кожиёна бык забодал и на рогах забросил.

С той поры уже никто и нигде не видал шатающегося шорника Егора, – и как не ну-

жен был ему паспорт, так не нужна была ему и могила; но в память его были совершены некоторые немаловажные дела.

IV

У нас на чищобе, недалеко за гуменником, стоял дрянной сараишко, который называли «старым половнем», хотя он никогда никакого «гуменного» назначения не исполнял и даже для него не годился.

Сараишко этот огородили для себя смоленские «копачи», или «грабари», приходившие выкорчевывать пни от сведенного на этом месте леса. Копачи, окончив свою работу, ушли, а огороженный ими дрянной сараишко оставался неразобраным, может быть потому, что дрянной материал, из которого он был сколочен, не стоил и разбора.

Крыша сарая давно вся сотлела и просети-лась, воротища упали и висели на одной «пятке», и никто в этот сарай не ходил, кроме солдатки Наташки, которую, впрочем, велено было гонять отовсюду. И вдруг в одну ночь этот так называемый «старый половень» *сгорел, как свечка!*

Было тихо и темно, и вдруг в то самое время, когда мы поужинали, — значит, часу в одиннадцатом, — небо озарилось теплым и

очень приятным желтовато-розовым светом.

Сначала всем показалось, что это будто так восходит «рыжая луна», но оказалось, что это старый половень горит.

На пожар успели сбежаться многие, но половня не растаскивали и не заливали, так как отец считал его ничего не стоящим; но хозяйну, однако, был интерес узнать: отчего могла загореться эта необитаемая и никому не нужная постройка?

Думали сначала на цыган или на поляков, но ни цыган, ни поляков нигде не видали; потом падала мысль на поводырей слепого Нефёда, которые курили трубку, но Нефёд и его слепой товарищ и их поводыри, оказалось, «пели Лазаря», где-то далеко у чудотворца на празднике, и тогда староста Дементий – старовер и враг курения – подал мысль, что не виновен ли в этом кто-нибудь из молодых «трубокуров», и это первое подозрение Дементий обобщил с другими известными ему подозрениями насчет маленькой солдатки Наташки – шустрой бабенки с огромным *genotméee*[1] всесветной куртизанки, из-за которой в деревне было много беспорядка не

только между молодыми людьми, но и между старыми.

Дементий Васильич непременно хотел по этому случаю «кое-кого взбрызнуть» или «пострелять», до чего он, как коренной «начальник» старого фасона, был большой любитель; но когда он захотел «пострелять» кучерявого сиротинку Вукола, то отколь ни возмись появилась сама солдатка Наташка и закричала:

– Не смей трогать Вукошку – это не он... я видела, кто половень сжег.

И Наташка вдруг, не обинуясь, назвала трех самых обстоятельных хозяев в деревне...

И те были призваны и повинились, что они действительно были в «старом половне» со свечой *из Кожиёнова сала* и, вероятно, как-нибудь по неосторожности, и проч.

Дело было уже не в том, как они заронили огонь в половне, а в том: отчего было произнесено упоминание о «свече из Кожиёнова сала»?

Все это сейчас же окутал густой мрак самой тщательно скрываемой тайны: отец взял всех трех мужиков к себе в кабинет и заперся с ними на ключ вместе со старостою Демен-

тием. И о чем они там говорили – никто не слышал; но, конечно, все отлично знали, в чем это дело, и обстоятельнее всех исследовали его именно женщины, имевшие смелость спуститься на самое дно глубокого оврага в Долгом лесу, и там под хворостом и сухой листвою прошлогоднего листопада рассмотрели сильно разложившийся труп, который вся деревня единогласно признала за труп шорника Кожиёна. Из Кожиёнова тука все «внутреннее сало» было уже «соскоблено», и из него, по всем вероятностям, наделано достаточное количество свеч, сожженных в разных местах, может быть, с подобным же результатом, как случилось и у нас в половне.

Тогда отец увидел, что дело может принять очень серьезный оборот, и поехал к соседу, которому принадлежал Долгий лес. Помещик этот, старик, бывший когда-то моряк и капитан второго ранга, жил нелюдимо в сообществе трех крепостных женщин, вместе с которыми и сам состоял под надзором четвертой, которая дирижировала весь круг его жизни. Событие в Долгом лесу вывело моряка из его зависимого состояния и подвигло к соб-

ственной инициативе, по которой он условился с отцом так, чтобы: есть или нет в лесу убитый – о том им обоим благородно и чинно ничего не знать, и кто такой там есть – этого не разыскивать, а для освежения чувства в людях, которые, очевидно, очень набожны, но только не знают, что им делать, – пригласить из трех сел трех священников... и сделать это как бы... при опасно больном консилиум... Отслужить соборне три молебна – в саду, на лугу и на поле, и быть всем вместе, дворянам и мужикам... и потом – угощение.

Отец на это согласился, и все предположенное к исполнению «для освежения чувств в народе» должно было происходить «на общих межах», по-соседски, но «выход» должен был быть от нас и у нас же быть «консилиуму» и угощению.

– Так как у вас, – сказал отцу моряк, – есть дома законная супруга, а у меня на этот счет одно беззаконие.

И торжество было отправлено у нас. Приглашен был еще один сосед, майор Алымов, тоже холостяк и с «репутацией», но молодой по летам, говорун и щеголь довольно дурного

тона. Капитан второго ранга, вероятно, нехорошо был о нем наслышан и не хотел с ним сближаться; ему даже неприятно было стоять рядом с майором за молебном, и Алымов это заметил и «начихал на него»: он отошел от горделивого моряка и, переступя поближе к дьячкам, стал задувать с ними вместе не в такт, но очень громким и звонким голосом: «Даждь дождь земле алчущей, спасе!» Раз от раза он все хватал это смелее и громче и очень этим угодил и крестьянам и духовенству, с представителями которого он еще более сошелся за столом, где опять несколько раз поднимался и пел: «Даждь дождь земле алчущей, спасе!» Этим Алымов ввел у нас прошение о дожде в такое распространение, что после у нас в доме все по целым дням пели: «Даждь дождь земле, спасе!» Но больше всех в этом упражнялись мы, дети: мы в своем молитвенном напряжении даже превзошли старших тем, что устроили себе из няинных фартуков ризы, а из свивальников орари, и все облачились да пели: «Даждь дождь». Нам это очень нравилось, но прислуге мы надоели, и служение наше было расстроено тем,

что нянька отобрала у нас облачения и сказала:

– Полно дьячить! теперь уже никому и дождь не нужен и: настала пора убирать, а убирать нечего: *голодный год прошел уже!*

Это было для нас ужасное открытие! Мы и не заметили, что он *уже пришел*. Когда же это случилось? Мы всё еще просили «отвратить праведный гнев, на ны движимый», и напитать людей, «яко же птицами онеми», а тут уже все кончено: готово созревшее поле, на котором «стоит колос от колоса так, что не слышать человеческого голоса, а сжатый сноп от снопа – день езды»...

Пришел голодный год! «Съедем, что зародилось, и умрем», – говорили мужики и пекли еще из новичы лепешки и наварили к успешью браги, а с Богородичного Рождества некоторые несмело стали отлучаться... Спросите – куда? Сначала был еще стыд в этом сознаваться – отлучки эти скрывались: люди уходили из села и возвращались домой в потемочках, «чтобы сумы не было видно», – но голод и нужда возрастали, и к Покрову все друг о друге стали знать, что всем есть нечего и

что «всем надо идти побираться».

Кто хотел бы составлять себе представление о деревенском голоде, бывшем в сороковом году, по тем явлениям, какие можно было наблюдать прошлой зимой, 1892 года, когда народные страдания были облегчаемы дружными усилиями разумных и добрых людей, тот получил бы очень неверное понятие о том, как страдал народ при тех порядках беспомощия, о которых вспомянул генерал Мальцев. Таких забот, какие прилагались теперь частными лицами, чтобы помочь голодающим крестьянам по одному человеколюбию и состраданию, тогда и в помине ни у кого не было, да никакое оказательство в смысле общей помощи было и невозможно; а само правительство, разумеется, не могло прокормить всех голодных. «Казенным» или так называемым «государственным крестьянам» тогда дали что-то из «запасных магазинов» на «обсеменение полей»; но это была помощь слабая и ничтожная: «казенные» люди из названной категории на этот «заимобраз» тоже не могли прокормиться. Но о том, чтобы кор-

мить их *досытости*, и не считали нужным заботиться: рассказывали, будто граф Киселев сказал кому-то, что «крестьяне не солдаты» и что «до новины они могут *одну зиму как-нибудь перебиться*», и это будто бы послужило достаточным успокоением чьей-то душевной тревоги. А казенные или государственные крестьяне в то время считались за «любимых детей» правительства. Что же касалось людей других сословий, то с этими было еще меньше хлопот: о мещанах нечего было и говорить, так как они земли не пашут и хлеба не сеют – стало быть, у них неурожая и не было, и притом о них давно было сказано, что они «все воры», и, как воры, они, стало быть, могут достать себе все, что им нужно; а помещицы «крепостные» люди были в таком положении, что о них нечего было и беспокоиться, – они со дня рождения своего навеки были предоставлены «попечению владельцев», и те о них пеклись... Злополучные крепостные люди были всех других несчастнее: они не только страдали без всякой помощи, но еще с связанными руками и с тряпицей во рту. Они даже не имели права отлучиться, и нередко их

жалобы и стоны принимали за грубость, за которую наказывали. Лучшие исключения были там, где помещики скоро ужаснулись раскрывшегося перед ними деревенского положения и, побросав свои деревни, сбежали зимовать куда-нибудь в города и городишки, – «все равно куда, лишь бы избавиться от своих мужичонков» (то есть чтобы не слышать их просьб о хлебе). Без господ крестьянам по крайней мере открывалась свобода брести куда глаза глядят и просить милостыню под чужими окнами. Впрочем, в некоторых больших экономиях «своим крестьянам» давали хлеба и картофеля в долг или со скидкой против цены, за которую отпускали «чужим людям», но и это все было недостаточно, так как и по удешевленной цене покупать было не на что.

Разумеется, я говорю только о той местности, где я тогда жил, в Орловской губернии. Может быть, что в других местах было и иначе.

Я говорю *только* о том, что сам видел или о чем слышал в тогдaшнее время.

Самым ужасным тогда казалось, что люди

В нашем месте были связаны крепостною неволею: через это они не могли никуда отлучиться и ничего себе промыслить. Среди мелкопоместных владельцев в Курской и в некоторых уездах Орловской губернии по местам происходило так, что дети и старики «ходили в побор», а взрослые работали на барщине, и работали работы неспешные, как-то: секли про запас хворост или рыли канавы, – с чем со всем можно было подождать, а ели «сборное», то есть то, что старики или ребятишки где-нибудь «напросят Христа ради». В больших экономиях крестьянам было гораздо лучше, уже по тому одному, что там по крайней мере не стесняли людей, и мужики поползли «с топорами» (то есть плотничать) и Киев, в Харьков и в Нежин и «с лошадем» подряжались везти «лагуны» (с салом) или «бунты» (с пенькою) в Таганрог и в Одест. И в первом и во втором отходе заработок их был самый ничтожнейший, или, лучше сказать, – никакого. Работали они больше только «из одного прокорма», и то считалось еще хорошо, если работник прокормится и назад домой вернется «с лошадем», а не с одним «кнутиком». А то

случалось, что он придет да обрадует домашних, что «кобылу» или «мерина ободрал в ухабе». Крестьяне, которые «нашли ряду» и успели уехать ранее, пока лошади их езде не обессили от изнурительной бескормицы, кое-как справлялись и на дороге, в самом пути, отъедались сами и откармливали лошадей: эти возвращались благополучно; но которые не нашли рано работы, а тронулись тогда, когда давно уже стал санный путь и лошади давно заморены на бескормице, – у этих все «рушилось»: лошади у них запрокидывались кверху ногами в первом раскате и «падали». Как бесподрезные сани пойдут в раскат и ударят клячу по исхудалым булдыжкам, – она тотчас же и упадет, и лежит. Ее «поднимают» мужики, кто за хвост, кто за плечи. Поднимет, установят и поддерживают, а потом тронут: «ну, матушка!» Но она пройдет несколько шагов и опять хлопнется, ноги вверх задерет и даже не бьется. Чуть только не просит, чтобы ее уж и не трогали – что «мне-де уже все равно как околеть, лишь бы только поскорее».

Иногда, бывало, видишь, что как только лошадь поднимут, так она тут же сию минуту

опять и падает. Мужики, даже самые жестокие, тут плакали, как дети, и жалели лошадей – не били их, а все, бывало, уговаривают лошадку: «ну, матушка! ну, кормилица!» – да сами во всю дорогу то у одной, то у другой оглобли пыхтят и подсобляют, а сами всё плачут.

Страшное это представляло зрелище, как они, бывало, плетутся по дорогам длинными вереницами, и сами взьерошенные, истощенные и ободранные, а лошади уже совсем одни скелеты, обтянутые кожей...

И не разберешь даже – кто кого жалче.

Во всяком случае известная художественная группа Репина, изображающая поволжских бурлаков, представляет гораздо более легкое зрелище, чем те мужичьи обозы, которые я видел в голодный год во время моего детства.

В глубоких ухабах или под раскатами столбовых дорог то и дело, бывало, валяются ободранные «падла» и над ними стаями веются черные птицы, высматривающие – как бы им ухватить что-нибудь из того, что может остаться после зубов страшно освирепевших

от голода собак. Собаки тогда рыскали очень далеко от домов и дичали совершенно как волки. Крестьяне, как известно, и в «довольное время» не любят кормить своих сторожевых собак и держатся того взгляда, что «пес сам о себе промыслитель», а в голодный год собак и нечем было кормить. На их собачье счастье лошадей околевало множество и трупы их, или, по-мужичьи, «коневое падло», валялись без перевода и по полям и по задворкам. Псам только надо было иметь чутье да ноги, чтобы не пропасть с голода. Но удивительно было, как они далеко узнавали о каждой павшей скотине! Бывало, где ни выволокут падло, собаки уж знают, и через час-два собачьи следы так и наплетут через все поля сеть по снегу. Люди удивлялись этому и предполагали, что у собак непременно есть какое-то свое им свойственное средство сообщать друг другу новости о событиях, совершающихся за пределами их слуха, зрения и обоняния. В самом деле, чутье едва ли могло достигать на такие далекие расстояния, откуда сбегались собаки терзать падаль! Приходилось видеть знаемых деревенских собак, при-

бегавших верст за двенадцать и за пятнадцать. В начале зимы, когда лошадей дохло много, собаки так хорошо отъелись, что волки их боялись, и они не подпускали волков к пиру; но потом, когда все лошади переколели, голод собак стал ужасен, и волки пошли рвать их. Впрочем, псам все-таки было лучше, чем травоядным. Коров своих крестьяне «до последнего берегли» и «воспитывали крышами». Сгребут, бывало, с крыш давно почерневшую солому и иногда «попарят ее в корчажке» – вот и корм. Солить было нечем: тогда соль составляла «правительственную реглацию» и была так дорога, что плоховатые мужики и в «ровные»-то года часто ели сныть несоленую. (У Тургенева мужик говорит, что надобно осиротелую девчонку взять. Баба отвечает: «Нам самим сныть посолить нечем». А мужик говорит: «А мы ее несоленую!» – и девчонку взяли). Коров «ходячих» не резали. Станет она «падать» или «заваливаться», идучи на водопой, – ее всё еще поднимают и ведут до дому, «поддерживают» и опять «крышей воспитывают». И так водятся с ней до тех пор, пока у нее «титьки высохнут». Тут уже,

значит, ждать от нее больше нечего – «воспитание» ее кончено, и остается ей «нож воткнуть». Зарезанную полуиздохшую корову поскорее «требушили» и потом волокли «в копоть», то есть разнимут ее труп на частички и повесят эти рассеченные части «над дымом», чтобы их «прокурило» и «дух отшибло», потому что у этого мяса даже до посмертного разложения был какой-то особенный, вероятно болезненный, запах, которого «утроба человеческая не принимала». А потом, когда дым все это «прокурит», – вонь несколько изменяла свой характер, и мясо воняло иначе – менее противно: тогда его, бывало, варят и едят.

Но все это еще было сравнительно благополучное время, когда было что «дымить», а впереди ждало положение гораздо более тяжкое.

Здесь, однако, мне припоминается, какое горе бывало в крестьянском дворе, когда делалась очевидною неминуемая надобность немедленно предать смерти «кормилицу».

Как, бывало, доходит последний корм, так «бескормной корове» от мужиков выходит ре-

шение, что ее надо «приколоть»... Тогда все бабы принимаются «выть», а на них глядя, завоют все дети, и все стараются «коровушку покрыть», то есть уверяют мужиков, будто она еще может жить; но мужики этому не внемлют, и как заметят, что подойник пуст, так сейчас же и берутся исполнять свое решение.

Это ужасные минуты в крестьянской избе, которых нет средств описать, а их надо видеть.

После ссоры и спора из-за коровы между бабами и мужиками – в избе вдруг пропадает хлебный нож!..

Нет его, да и только! Бабы говорят: «ребята затащили», – мужики дерут ребят за виски; ребята говорят: «мамка скрала», – мужики мнут мамке потылицу... Всем дела много, а нож все-таки не отыскивается.

Идут занимать нож к соседу, но и у соседа нож пропал! Бабы режут хлеб какими попало ножевыми «аскретками», а настоящие хлебные ножи все «пропали». Их ищут-ищут и не находят. Мужики понимают, что это значит, и долго не разговаривают, а идут за ножом на

другой конец деревни и там где-нибудь пригодный нож находят. Тут же делают и уговор еще о живой корове: как делить ее «тушу», кому перед, кому зад, кому нутро или студни. Об этом уговариваются, чтобы не пропадала «убоина», и за раз несколько коров в деревне не режут. Сегодня режет один сосед, а другой поджидает, если есть чем издыхающую «воспитывать».

Когда мужик добудет нож и возвращается в избу, он молча начинает водить нож по железистому кирпичу на загнетке. Вид у него тогда мрачный, и бабы начинают его бояться и уже не воют, а тихо плачут: но мужика и это выводит из терпения. К тому же мать или другая старуха, которая не боится тукманки, где-нибудь за углом причитает. Мужик спешит точить нож и, пощупав его на ладони, уходит звать на помощь соседа. С «уборкой» буренки надо спешить, потому что она того и гляди околеет, и тогда выйдет не «убоина», а «падло».

Потом настает в избе жуткая тишина... Со двора все слышно, как мужики путают корову вожжами и потом бьют ее долбней по го-

лове. Без этого они убить большую скотину не умеют. А потом, когда этот ужасный стук долбни по черепу прекратится, – мужик перекрестится и всунет корове нож в горло... И все стоят вокруг в тишине и смотрят, как кровь бьет и зарезанная еще дрыгает связанными ногами и смотрит. Потом тишина кончена, и закричат: «давай ночвы!» Тут всему делу развязка: бабы уже работают спокойно; носят разрубленные части своей буренки по избам и вешают их на деревянных крючьях и на лыковых веревках под потолками и над дверями черных изб (где дым идет). Тут это мясо коптилось, или как будто бы коптилось. На самом же деле орловские мужики мяса коптить не умели, да и негде было им его коптить, как надобно; а они только добивались, чтобы от него «не дюжо смердело».

Так приели весь рогатый скот, и ко сретенью (2 февраля) во всем селе, о котором рассказываю, осталась только одна корова у старосты да две у дворовых; но лошадей еще оставалось на сорок дворов штук восемь, и то не у крестьян, а у однодворцев, которые жили в одном порядке с крепостными. Однако все

эти лошади содержались на одной соломе и ни для какой работы не годились. Их даже нельзя было гонять на водопой к колодцу, потому что они завязали в сугробах и падали, и люди должны были их вытаскивать и волоочь домой – что было очень трудно.

Но не будем более говорить о скотах, а посмотрим, что случилось с самими сынами человеческими, отбывавшими здесь же беспомощно и безропотно все выпавшие на их долю злоключения «голодного года».

VI

Изобразить в общих чертах состояние духа деревенских людей за все время ужасной зимы сорокового года – я не умею. Была и унылость, и отчаяние, и стоны, и невероятное мужество... все это «человеком» и «чашом», то есть каждый человек переносил свое мучение сообразно своему характеру и не во всякую минуту одинаково. С виду даже, пожалуй, незаметно было, что люди переживают *особенно страдание*: жизнь в крестьянских избах плелась почти такая же безотрадная, как и всегда. Те же стоны и кряхтенье стариков, не слезающих с остывших печей; тот же дым и вонь, а часто и снег, пролезающий по углам с наружной стороны изб во внутреннюю; те же слабые пiski голых и еле живых ребят со вспухшими животами и красными от дыма глазами; но зимняя картина в орловской деревне никогда и не была другою... Я ее всегда видел именно такою. Мне гораздо легче вспомнить и удобнее, кажется, передать некоторые *особенные случаи*, которые уцелели в памяти и которые я изложу один от дру-

того в отдельности.

Прежде всего вспоминается мне хилая девочка Васёнка, которую «бог взял», и я с этого начну мои рапсодии, но так как мать Васёнки жила на дворовом положении, то прежде я скажу коротко о положении людей дворовых, которое отличалось от крестьянского. Дворовым людям, которые в обыкновенное время почитали себя несчастнее крестьян, в голодовку выходило лучше, чем крестьянам, потому что дворовых, не имевших земли и состоявших на работе при помещичьих дворах, помещики должны были кормить, и кое-как кормили. В обыкновенное время им отпускали на мужчину 1 п. 30 ф. в месяц, а на женщину 1 п. 20 ф. и на детей (с пяти до пятнадцати лет) по 20 ф. ржаной муки. Более не давали ничего: приварок и соль они должны были припасти себе сами, и где-то они этим действительно раздобывались. В голодный год во многих местах этим людям сделали страшную обиду: «сняли их с мучной месячины на печеный отвес», то есть стали давать им по 3 ф. хлеба в день на мужчину и по 2 ф. на женщину, а мальчикам и девочкам по полтора

фунта. Притом если варили щи или кашу, то в эти дни хлебный отвес уменьшался наполовину. Этим уже дворовые люди были страшно недовольны, потому что они своим «отвесным хлебом» делились со своими родственниками, голодавшими на деревне, и это составляло их священное право «помогать на деревню».

Дворовым и комнатной прислуге с Введения (21 ноября) мясину и отвес тоже стали выдавать не «чистым хлебом», а с примесью, но с примесью очень съедобною, по преимуществу с картофелем, и только в случае недостатка картофеля – с конопляным жмыхом, который если свеж и не горек, то вкус хлеба не очень портит. Во всем хозяйстве теперь только нам к столу подавали чистый и притом «обрушенный» ситный хлеб, муку для которого содержали в кади, в кладовой под замком, и отпускали ее в кухню для выпечки.

Хлеб этот был, конечно, гораздо лучше крестьянского пирога, и мы, дети, это знали и, евши такой хлеб, чувствовали что-то вроде стыда по тому случаю, что мы пресыщались вкусным хлебом и даже кормили им нашу собач-

ку Фидельку, тогда как на деревне дети сосали жмых...

В детских сердцах наших как будто раздавался голос бога, вопрошающего о брате...

Пекла наш «господский хлеб» та птичница Аграфена, из однодворок, о которой упоминалось выше, – та, которая видела сны и первая запророчила быть голодному году. Она – напоминаю опять – имела право уйти от нас, но жила на положении крепостной, потому что у нее были дети, прижитые с крепостным мужем, и в числе их была та Васёнка, которую «бог взял», о чем сейчас и будет предложено, как это случилось.

Испеченный Аграфеною ситный хлеб опять принимали от нее по весу, требуя на каждый пуд муки определенное по опыту количество припеку, на что пекарки-бабы очень жаловались и находили это требование несправедливым, потому что «всякая мука дает свой припек неровно». Но им не верили и усчитывали их на золотники, точно дело шло о золоте. И «свой брат» и «своя сестра», такие же дворовые и крепостные, поддерживали в господах это недоверие, постоянно до-

нося на пекарок, будто те «отнимают теста от господских хлебов своим детям на лепешки». По таким доносам ключницею делались внезапные обыски, и один раз у птичницы Аграфены, которая имела четырехлетнюю дочь Васёнку, страдавшую «кишкою», действительно нашли «шматок теста с ладонь», спрятанный между грязными подушками постели, на которой стонала ее больная девочка. Я помню, как об этом «довела» девочка, бывшая в «выносушках», по имени Агашка, и перед матушкою стояли разом эта Агашка, и ключница, производившая обыск, и Аграфена, а на столе в виде поличья лежал «шматок теста», которое она отняла от барских хлебов и хотела спечь из него лепешку Васёнке. Аграфену уличали Анна и Агашка, и Аграфена не отпиралась, а стояла гордая и «грубила». А грубость ее выражалась тем, что она очень страшно кляла свою девочку Васёнку. Это зашло так далеко, что матушка забыла о деле по существу и начала сердиться на Аграфену за то, что она проклинала дитя. Матушка говорила ей, что она не имеет права так клясть девочку и желать ее смерти! Но Аграфена это-

му кощунственно не верила и, скребя ногтями свои локти, отвечала:

– Что еще за право надо, когда я ей родительница! Возьму ее да и убью!

– И судиться будешь.

– Ну так и что же такое!

– Тебя не помилуют.

– Да и не надобно!.. И так-то уж у вас надое-ло!

И проговорив это с дерзостью, Аграфена нетерпеливо повернулась и ушла.

Ее не останавливали: ее однодворчество было для нее все равно что «римское гражданство».

Матушка сказала, чтобы ей простили шма-ток теста и не попрекали ее этим, и тем дело о шматке и господском доме было окончено, но в птичной избе, где пекли хлебы, оно продолжалось и окончилось только накануне Николина дня (5 декабря), когда четырехлетняя Васёнка была найдена над птичною из-бой возле трубы, в гнездовой плетушке, и совершенно зачоченевшая. А нашла Васёнку опять та же Агашка, которая в этот раз была послана ключницею наверх птичной избы

обобрать в покинутых галочьих гнездах забытые «подкладухи» (каменные яички). Тут Агашка, шаря в полутьме руками под застрехою, нащупала в заиндевевшем хворосте что-то такое, что инстинктивно показалось ей чрезвычайно страшным. Агашка вскрикнула и, не попав на приставную лестницу, свалилась прямо с потолка избы на пол сеней, а когда прибежала в горницу, то заговорила, что «на птичней избе под застрехой в хворостинах, близко к трубе, сидит что-то страшное». Тогда послали наверх взрослую девушку с фонарем – и та нашла там Васёнку... Девочка была в одной рубашке и босая, но ножки обвертела хлопчатками, которые нашла в выставленном сюда из избы плетеном гнезде, на котором в свое время сидели на яйцах наседки. Васёнка подвинула одно из таких гнезд под застреху, уселась в него, а головкою прислонилась к заиндевевшим хворостинным решетинам соломенной кровли и так заоченела, но она еще была жива, и когда ее принесли в избу, она даже как будто бы смотрела, но только глазки у нее были «как сонные».

Когда ее принесли в избу, то сейчас же прибежали в господский дом сказать об этом случае барыне. Это, разумеется, произвело смятение, в котором всякий по-своему обнаруживал свою находчивость. А так как это произошло в то время, когда мы только отпили утренний чай и матушка перемывала в полоскательнице чайные чашки, посередине которых стоял чайник со спитым чаем и с двумя кусочками сахара, составлявшими «положенье» для няни и ключницы, то матушка велела отнести этот чай в птичную и сама поспешила туда же, а за нею, в общей суматохе, проникли туда и мы.

Там мы увидели, что наша мать и несколько женщин стояли вокруг Аннушки, которая сидела на скамейке и держала на коленях застывшую девочку, а матушка, нагнувшись к ней, старалась влить Васёнке в ротик с ложечки чаю.

Стоя близко к самому центру действия, я видел, как матушка достигла, чего хотела, — она влила в ротик Васёнки чайную ложечку тепловатого чаю, и девочка этот чай как будто проглотила, но вдруг на губках у дитяти

что-то запенилось, и затем все вылилось вон, а в горлышке что-то щелкнуло и в животике забурчало.

Аннушка ослабила руки, которыми держала ребенка, и, вскинув на матушку испуганными глазами, прошептала:

– Отходит!

Послали как можно скорее принести из матушкина образника плисовую шапочку угодника Митрофания, ко когда стали ее надевать на головку Васёнки, увидали, что она уже умерла.

Шапочку, однако, все-таки надели, и Анна в этой же шапочке положила девочку на лавку под образ, а возле нее поставили ковшик с водою, чтобы «душка ее обмылась».

Это для меня было трогательно и интересно, потому что до этой поры я еще не был при разлучении человеческой души с телом, и я не ожидал, чтобы это происходило так просто.

Аграфены во все это время дома не было: она ходила на деревню к своей бедной сестре-солдатке, которая тоже умирала.

Матушка послала за Аграфеной, а сама

ушла, но я притаился и остался в птичной.

VII

Этот первый случай, «как дух уходил, и никто не видел, куда он идет», врезался у меня в памяти на всю мою жизнь, и тихая «смёрточка» тихой Васёнки тогда вдруг показалась мне страшным укором, вставшим против самых близких и дорогих мне людей, до которых сердце мое не желало бы допустить никакой укоризны. Я бросился в угол, где стояли гусиные гнезда, и горько заплакал о Васёнке... Я все вспоминал, как, бывало, зайдешь в эту избу среди дня, когда она жарко натоплена и в ней стоит густой запах свежеспеченного хлеба, – караваи хлеба лежат на столе, покрытые белым закатником, в кошелках гогочут гуси и тикают цыплятки, а Аграфены нет, и только одна терпеливая Васёнка лежит на грязной постели под грубым веретем и смотрит тихо и безропотно или вдруг скажет:

– Мамки нет... она ушодцы! – и сама снова умолкнет и опять лежит тихо-претихо.

Теперь она уже совсем умолкла и затихла навеки. Ей теперь хорошо; но сколько она

должна была перестрадать и перемучиться, пока застыла под застрехой! Какой ужас! И что такое могло ее побудить оставить постельку, на которой она всегда так терпеливо лежала, и лезть на холодный чердак, чтобы там заоченеть в страшной стуже?

Я был твердо уверен, что тут есть какая-то тайна, которую отгадать страшно, и получил в этом еще большее удостоверение, когда в избу с надворья, в облаке морозного пара, вошла вдова Аграфена.

Она посмотрела на свою умершую девочку и на всех, которые ее укладывали «под святые», и молча, с совершенно бесчувственным лицом, пошла в противоположную сторону к печи и стала греть возле нее руки.

В это время опять вошла матушка, неся в руках детскую рубашечку с голубою лентою. Увидя Аграфену, матушка тронула ее за плечо и сердито показала ей на мертвого ребенка.

Аграфена посмотрела и опять ни слова не отвечала.

– Видишь или нет? – строго спросила матушка, и только тут Аграфена ответила ей дерзко:

– Что видеть-то?.. Ну и вижу!

– Это твой ведь ребенок?

– Ну и мой! Что ж такое? Был мой, а теперь пускай будет божий! Господь его принял, и слава богу.

– Ты бесчувственная!

– Ну так что ж такое, хоть и бесчувственная!.. Бог взял дитя – что тут еще чувствовать! Его воля.

Матзшка покачала головою и, погрозив Аграфене пальцем, вышла и унесла с собою на груди шапочку Митрофания; а как только барыня ушла, Аграфена подошла к девушкам и, обхватив их всех трех сразу одной охапкой, толкнула к дверям и сказала:

– Сгиньте, доносчицы!

Я не трогался и не шевелился.

Аграфена меня не замечала: она стала возле Васёнки, поклонила пальцы и этими пальцами разгладила ей на лобике ее льняные волосы, потом вдруг икнула, опустилась на лавку, и у нее полились слезы; но это было недолго: она вытерла лицо грязной тряпкой и подошла к стоявшей в углу коробье.

Здесь она увидела меня и, казалось, немно-

го удивилась, но, однако, не сказала мне ни слова, а, порывшись в коробье, достала оттуда конец полотна, нитки и наперсток и пошла к столу, чтобы что-то кроить, но в это время в избу вбежала девочка Агашка и сказала, что мать моя сама пришлет Васёнке саван и покроец.

Аграфена ничего не ответила, но завернула нитки и ножницы опять в полотно и снова все это положила в коробью, и тут, нагнувшись над коробьею, вдруг зарыдала.

Я робко приблизился к ней и, сам плачучи, обвил руками ее шею, но она меня отодвинула и сказала:

– Не замай! не замай! – и опять заголосила.

Мне показалось страшно с нею оставаться, и я пошел домой, где теперь все были заняты судьбою Васёнки, и притом всякий по-своему: матушка отрезала холст на саван Васёнке, а девушки шили эту никогда до той поры мною не виданную вещь «на живую нитку». Матушка каждой из них напоминала, чтобы непременно шить «на живую нитку».

Я очень интересовался, почему девушки должны были шить на живую нитку, когда

им в других случаях такое шитье ставилось в вину, и мне объяснили, что это такое правило, что «на мертвых всегда надо шить на живую нитку».

Я тогда был в таком возрасте, когда дети «набираются впечатлений», и все новое меня очень интересовало.

Я давно слышал слово «саван» и привык чувствовать в его звуке что-то злое, но никогда савана не видал, и теперь напрасно всматривался, как его шили, потому что ничего не мог разобрать в кучке полотна, которая вертелась у швей на коленях; но потом мне удалось его увидеть. Когда большие девушки пошли обедать, резвая девчонка Роська, остававшаяся дежурной по девичьей комнате, наложила Васёнкин саван на себя и стала перед отворенными дверями в нашу детскую, так что мы ее увидели, и сначала мне показалось, будто я вижу «козу», которая ходит плясать с медведями, но потом я понял, что это и есть саван... Я испугался и, закричав отчаянным голосом, убежал к старшим.

Васенку я не видал в ее погребальном уборе, приготовленном для нее на живую нитку;

но когда я лег спать, то, прежде чем заснуть, мне привелось услышать разъяснение, как она попала на чердак. Всему делу виновницею оказалась ее мать, Аграфена, или, точнее сказать, ее «сибирный карахтер» (так доносила матушке старостиха Домна). «Аграфена узордилась, чтобы никто на нее не смел думать, что она дочке шматок теста от господской дежки берет». И она будто Васенку взяла и выгнала, чтобы та шла в общую людскую избу, пока хлеб высидится, а сама Аграфена к сестре на деревню пошла и там задержалась, потому что сестре горшок накидывала; а Васёнка побоялась идти в людскую избу, потому что там в сенях белая телка, которая бодалась, и спряталась на чердак в гнезда и там застыла.

И Васёнку схоронили, а на Аграфену не сердились, и даже, когда подходил Васёнке девятый день, Аграфене велели выдать полпуда муки на блины и приказали дать ей лошадь, чтобы она могла поехать с сыном своим, девятилетним Егоркою, на кладбище; но Аграфена муку взяла и отнесла ее на деревню к сестре, а на лошади не поехала, а пошла с

Егоркою пешком, хотя день был прескверный: холод и метель.

Пошли они утром, но не возвратились за светло, а метель разыгралась, и думали, что вдова с сыном остались переждать погоду у кого-нибудь из дьячков. Но на другой день ее не нашли на поповке, а потом и ее «и сына отыскали в овражке – мать с сыном сидели обнявшись и оба замерзли».

По-видимому, они шли домой и сбились с дороги; но некоторые думали, что Аграфена нарочно заморозила сына, чтобы его «ослободить».

Истину в этом деле открыть было невозможно, и дьячок Меркурий, которому заказывали делать надписи на крестах, написал на кресте, покрывшем семейство горделивой Аграфены: «Боговинися душа».

Никто не мог понять в точности, что такое это значило, но все находили, что это «что-то значит».

А дьячок Меркурий только кивал значительно головою и произносил: «гм!» – а внятнее ничего не сказывал.

Смерть Васёнки, Аграфены и Егорки была

первым трагическим случаем из всех событий голодной зимы в нашей деревне, но драма эта совершилась втайне и «предана воле божией».

Другие события, которые я припоминаю, случились позже и не так близко, как это. Но здесь еще надо вставить отрывок о хитром помещике.

VIII

Хитрый помещик был не кто иной, как майор Алымов, о котором вскользь уже упомянуто. Его почему-то не называли по имени и отчеству, а титуловали *почину*: «майор». Он был молодой, холостой, бравый, сильный, плечистый, с огромнейшими черными усами «вразмет» и с бойкими, но неприятными манерами дурного тона, которыми он и оттолкнул от себя соседа-моряка при молебне о дожде для земли алчущей.

Алымов служил в каком-то полку и вышел в отставку по какой-то «истории». Это, должно быть, имело общественное значение, потому что при всяком случае, когда мои родители знакомили с кем-нибудь майора Алымова, то непременно к громко произнесенной рекомендации его прибавляли потише, что он «вышел по истории». Майор был холост и постоянно «лытал и судьбы пытал», или, проще сказать – искал выгодных невест для законного брака, а до устройства себе искомого семейного положения он жил один в своей небольшой деревушке, где у него был очень скром-

ный домик в пять комнат, и вся усадьба, устроенная его матерью «по-однодворчески», а не по-дворянски. То есть домик у Алымова был построен одним фасадом в сад, где не было никаких иных деревьев, кроме фруктовых, а всеми другими тремя сторонами этот домик выходил во двор, обнесенный всеми хозяйственными службами – закутами, сараями, амбарами и амбарушками.

Такой способ постройки в наших местах назывался «в кольцо» и имел ту выгоду, что и люди и животные – все были у хозяина перед глазами; но зато кроме их уже ничего другого видно не было.

От этого на таких усадьбах не ходит ветер – тепло, хозяйственно и очень скучно.

Алымов, по выходе в отставку, уже несколько лет сидел на этой усадьбе и вел свое небольшое хозяйство аккуратно, почему у него было довольно всего, что только нужно в его положении домовитого холостого помещика и «женишка». А женишок этот, по памяtnому мне определению моей няньки, был притом человек «довольно будто простенький, но и довольно будто хитренький». Он,

например, не подражал большинству помещиков, которые бывали часто очень требовательны к своим людям и за всякую неисполнительность наказывали их сурово и даже жестоко. Алымов хотел быть «добрым баринном»; он хотел «жить так, чтобы в деревне ему своих людей нечего было бояться» и «чтобы люди его хвалили». Но он достиг только одной половины этой программы, то есть он у себя в доме своих людей нимало не боялся, но похвал себе от них не дождался, а люди его говорили о нем, что он «шишъмора».

Алымов был очень скуп и из-за скупости будто бы и не женился, а только все сватался и на жениховском положении ездил из одного помещичьего дома в другой, заставляя принимавших его хозяев кормить его, с кучером, казачком Валеткой, тройкою лошадей и легавою собакою, которая называлась «Интендант». Она была замечательна тем, что везде умела отыскивать съестные припасы и везде их очень ловко крала.

У Алымова, так же как и у нас, в этот год не уродилось в полях ничего, и надо было купить ржи, чтобы засеять озимые поля – свои

и крестьянские.

Это требовало больших расходов, и притом это была такая надобность, которой нельзя было отвести: но Алымов, однако, с этим справился: он уехал из дома в самый сев и возвратился домой «по грудкам», когда земля уже замерзла и была запорошена мелким снегом. А чтобы не нести покор на своей душе, что он бросил крестьян на жертву бескормицы, он их утешил:

– Братцы! – сказал он «своим людишкам» по возвращении, – я об вас хлопотал – хотел найти озимых семян, да не нашел; но вы как-нибудь перебьетесь... Не правда ли? Я нашел отличные семена *яровой ржи* и купил целых десять четвертей. По осени их везти неспособно было из Дмитровки, а теперь готовьтесь: как санный путь встанет – поезжайте на пяти подводах, берите по две четверти на лошадь и привозите домой, ссыпем в один мой амбар, а по весне, что бог даст, – запашем и засе-ем все земли – мои и ваши, и будет чудесно... не правда ли?

Мужики отвечали: «Может, и правда!» А сами подумали: «Верно, брешет, – верно, что-

нибудь крутит, шишимора!» – однако поехали и яровую рожь привезли.

А какая она такая будет и годится ли – то им было неведомо, и потому они делали все это с неудовольствием.

Прибыли на двор, выпрягли лошадей и оставили рожь на санках – ссыпать было поздно.

А когда пришли ссыпать на другой день, то увидали нечто необыкновенное: господин их захотел божье зерно все перепортить.

Алымов начитал в «Трудах Экономического общества» что-то необыкновенное о «навозной жиже», в которой рекомендовалось мочить семена и потом их высушить, и от посева таких семян урожай бывает отменный.

Шишимора сейчас же устроил у себя на скотной избе ящик, величиною в два больших корыта, навел там жижицы на мешаном конском и ином помете и велел в нем «зерно макать да просушивать» и тогда только в амбар ссыпать.

Затея эта мужикам очень не понравилась и показалась глупою, а оттого и руки у них не поднимались, чтобы «добро незнамо в чем

мочить»; но делать было нечего – власть господская выше, и мужики своему «шишиморе» повиновались, все помочили, обсушили и ссыпали, – амбар заперли и ключ ему принесли и у самых образов на стенку повесили. А шишимора сейчас же опять велел заложить свою тройку в сани, взял казачка Валетку и собаку «Интенданта» и поехал свататься на целую зиму. И выезд этот он производил с повсеместным успехом, которому очень помогала его «продувная штука», «как он оплел мужиков».

Оплетение же заключалось в том, что ярвая рожь, припасенная на семя, была «припоганена» посредством замачиванья ее в навозной жиже и что теперь за эту рожь уже бояться нечего, так как мужики ее, «поганую» от мочки в навозе, на снесь уже не украдут.

– А что же они зимой будут есть? – спрашивали майора.

– Сделайте вашу милость! – отвечал Алымов, – об них, пожалуйста, не беспокойтесь! Они свое дело знают. Но я их, впрочем, *так* не оставляю: я им сказал: «Братцы! ведь это всего только до весны... вы до весны как-ни-

будь перебейтесь!» Они, не беспокойтесь: они перебьются!

И всем это казалось очень забавным: люди с воображением представляли себе – как там у него мужики придут к амбару, где ссыпана рожь, моканная в навозной жиже, и понюхают они, чем пахнет, и увидят, что рожь есть, а есть ее нельзя... Вот и смех! не правда ли? – вот они и пойдут прочь и «как-нибудь перебьются».

Этого человека не презирали и не порицали, а, напротив, находили его шишиморский поступок очень забавным и продолжали всюду принимать Алымова и кормить его. Но мы теперь оставим майора путешествовать из дома в дом, а сами посмотрим, как обходились и что выдумывали те, кому было представлено: «как-нибудь перебиваться».

IX

Перед Рождеством Христовым прошла молва, что началось людоедство. Известно, что и в 1892 году в деревнях об этом пробовали говорить; но теперь писаря и старшины читают газеты и знают, что о таких событиях пишется, а потому ложь скоро опровергается; но тогда было другое дело. Пришел кто-то откуда-то и стал сказывать, будто бы с отчаяния и с голоду люди убивают других люден и варят их в золowych корчагах и съедают. По преимуществу такие проделки приписывали матерям, которые будто бы делали это из сострадания. Глядит-глядит будто бы мать на своих детей, как они мучатся голодом, и заманит к себе чьего-нибудь чужого ребенка, и зарежет его, и сварит, и накормит своих детей «убоиной». Указывали даже очень недалекие селения, где будто наверное совершились все такие происшествия, и описывали подробности этих случаев. Так, в одном селе, которое было от нас в десяти верстах, одна баба будто бы долго терзалась, глядя на томление умиравших от голода четырех детей, да и говорит им

с вечера в потемочках (огня в деревнях тогда многие по бедности «не светили»):

– Спите, детки мои, голубяточки, и если вы спать будете, то я вам завтра сварю убоинки.

Старшая из детей этой бабы уже понимала нужду своего бедного житья и говорит:

– Где же ты, мамка, возьмешь нам убоинки?

А мать отвечает:

– Это не ваше дело: вы уже только засните, а я побегу либо у кого-нибудь выпрошу, либо впотьмах у волка вырву.

Девочка и раздумалась о том, как мать будет впотьмах у волка из зубов мясо вырывать, и говорит:

– Страшно, мамушка!

А баба отвечает:

– Ничего не страшно: спите! Вот как вы не спите да голосите, так мне это гораздо страшнее!

А было это как раз в сочельник.

Дети же у бабы были погудочки – все мал мала меньше: старшей девочке исполнилось только пять лет, а остальные все меньше, и самый младший мальчишка был у нее у гру-

дей. Этот уж едва жил – так он извелся, тянувши напрасно иссохшую материну грудь, в которой от голода совсем и молока не было. Очевидно, что грудной ребенок неминуемо должен был скоро умереть голодной смертью, и вот на него-то мать и возымела ужасное намерение, о котором я передам так, как о нем рассказывали в самом народе.

Как только баба обманом утомонила детей и ее старшие ребяташки уснули с голодным брюхом, она взяла своего грудного мальчика, дрожавшего в ветошках, положила его к себе на колени и дала ему в ротик грудь, а возле себя положила на стол хлебный ножик. Изнуренный ребенок, несмотря на свою усталость, взялся за грудь, но как молока в груди не было, то он только защелкал губенками и сейчас же опять оторвался и запищал... Тогда мать пощекотала у него пальцем под шейкой, чтобы он поднял головку, а другою рукою взяла нож и перерезала ему горло.

Убив дитя, она будто сейчас же положила его в ночвы, а потом разняла на части, посовала в горшок и поставила в печку, чтобы мясо сварилось, а «утробку» на загнетке в золе

сожгла, и ночвы и стол вымыла, и тогда побудила старшую девочку и сказала ей:

– Вот тут, в печи, стоит горшок – варится... В нем, гляди, для вас полно убоины... достаньте его и все мясушко съешьте, ничего не оставляйте. Слышишь ли?

Девочка говорит:

– Мамушка рудная! ты зачем же одна в кушочки пойдешь, когда у нас убоинка варена! Съешь убоинки! Но мать только побледнела и руками замахала:

– Нет, – говорит, – я не хочу – вы одни ешьте! – и с этим толкнула дверь ногой и ушла.

А девочка сейчас же высунула емками горшок из печи, перебудила своих младших, – сели за стол и начали есть.

И всего своего братца они съели бы без остаточка, но только кому-то из них к концу стола попалась нераскинувшаяся в кипятке ручка или ножка ребенка, и они по этой ножке или ручке узнали, что едят «человечину»...

Тут они бросились бежать вон из избы, но только что отворили дверь, как смотрят – мать их в сенцах висит удавившись, подцепив веревку за решетину в снятой крыше.

В другом же селе вышло будто дело еще страшнее: там будто бы «внучки съели свою бабушку».

Обе эти новости принес в деревню и рассказывал всем на удивленье и на страх сухо-рукий Ефим, у которого было особенное, очень приятное положение. Его называли «прощенник», потому что он когда-то, еще при прежних господах, сделал очень большой грех: украл и один, ни с кем не поделаясь, съел целый артос, и за это он был три года скорчен, но потом госпожа ездила куда-то к святыне и возила этого Ефима с собой, и он там исцелился. «Бог его простил»: корча от него была отнята, но для памяти о его грехе у него рука усохла, так что работать ему было невозможно. С тех пор Ефим не жил оседло, а все ходил по святым местам, «молился и презвищал». Ефим был мастер рассказывать, но в основе его рассказов часто бывало много вздора, и врал он, ничем не стесняясь, как будто ему и не было прощения. Точно так же он наврал и о сваренном ребенке и о старухе, которую съели внучки. Но наврал он не все от своего ума, а взял нечто и от других людей, среди

которых оба эти рассказа сложились эпически, и в основу их фабулы легли некоторые действительные происшествия, которые в их натуральной простоте были гораздо более ужасны, чем весь приведенный вымысел с Ефимовой раскраской.

Х

В действительности было вот что: довольно далеко от нас, – верст более чем за сто, – была деревня, где крестьяне так же голодали, как и у нас, и тоже все ходили побираться кто куда попало. А так как в ближних к ним окрестных селениях нигде хлеба не было, то многие крестьяне отбивались от дома в дальние места и разбрелись целыми семьями, оставляя при избе какую-нибудь старуху или девчонку, которой «покидали на пропитание» ранее собранных «кусочков».

Одна из таких крестьянских семей, удалившись в побор, оставила в избе девочку лет тринадцати, которую с собою нельзя было взять, потому что она недомогала и притом у нее совсем не было ни обуви, ни одежды.

Ей «покинули» сколько могли корочек и охапки три хворосту, чтобы она могла им понемножку топить избу, и оставили ее на волю божью. Несчастливая абандона коротала дни одинокая в пустой и почти холодной избе, для согревания которой было очень мало топлива. Она сидела днем под окошечком,

пряла какую-то посконь и томила и от голода, и от стужи, и от немоги, и от одиночества, и в этом положении ее навещала только одна подруга – таких же лет девочка из соседней избы. Разумеется, и эта девочка была такая же бедная, но та, первая – была тихая и покорная, а эта, вторая – очень бойкая и, как увидим, слишком предприимчивая.

Она и наделала бед, из которых сложились потом разнообразные легенды, ходившие по округу и еще сохраняемые, может быть, и доселе.

У этой, второй девочки – «озорницы», недавно умерла мать, и отец ее отложил новую женитьбу «до урожая», а пока он сам уходил побираться с двумя мальчиками, а «озорницу» он жалел таскать, потому что ей было не во что одеться.

Ей также «покидали кусочков и топливца», и она оставалась «при избе». А как одной в избе сидеть скучно, то «озорница» приходила скучать к смиренной соседке.

Вдвоем им было веселее и теплее и дни коротать и ночь спать.

Девочки ладили между собою, несмотря на

то, что резвая, приходя к тихой, не давала ей покоя и не раз ее забижала; но это все было ничто в сравнении с тем, что она один раз устроила.

Однажды, в холодный и солнечный день, утром, когда обе девочки встали, – хворая хозяйка начала набивать хворостом печь, а озорница убежала «свою избу проведать» и долго не возвращалась; но потом хворая слышит, что кто-то отворил дверь, которая вела с надворья в сени, и сейчас же в сенях послышалось блеяние ягненка.

Немощная девочка удивилась, потому что во всем их конце деревни давно уже ни ноги овечьей в живых не осталось, и ягненку взяться было неоткуда. Уцелело же несколько овец только у двух «богатеев», но это было в дворах на противоположном конце деревни. Оттуда сюда забежать ягненку было далеко, да и незачем.

Но, однако, больной ясно было, что у нее в сенях есть ягненок и что он пришел туда не своею охотою, а его кто-то тащит и в то же время запирает за собою дверь с надворья.

Больная стоит у печи и смотрит на дверь, а

дверь вдруг распахнулась и с клубом холодного облака врывается в избу соседняя озорница, а перед собою толкает маленького черненького ягненочка.

Больная спросила ее:

– Чей это баранчик?

А озорница ей отвечает:

– Разве не видишь, что мой?!

– Нет, исправди чей?

– Да вот исправди и есть, что мой.

– Чего ты врешь!

– Ничего не вру: в моих руках, так, стало быть, мой. Давай мне, девушка, поскорей нож – я его зарежу!

Та удивилась.

– Что ты, – говорит, – выдумала!.. Уйди ты!

– Ну как же, так я сейчас и ушла! – поддразнила озорница и добавила: – Мы эту барашку сейчас обдерем, и спечем, и есть будем.

А сама увидала в эту минуту на столе хлебный нож, схватила его, зажала барашка в колени и перерезала ему горло.

Хворая было бросилась, чтобы отнять барашка, да уже поздно было: барашек трепетал и фыркал кровью.

Девочки побранились, и хозяйка хотела выгнать гостью вон из избы вместе с зарезанным ягненком; но озорница ее не послушалась и не пошла вон, а схватила из-под лавки рогожу и хотела закрыть ею окно, чтобы никто случайно не заглянул в это окно и не увидал, что тут делается; но едва она зацепила на веретено один угол рогожи, как заметила, что к окну снаружи прильнуло детское лицо в огромной шапке, и шепелявый полудетский голос проговорил:

– А я все видел, что вы, сибирные, сделали!

Робкая хозяйка так и замерла, а бойкая виновница всего происшествия дала ей знак, чтобы она молчала, а сама закричала на говорившего:

– Ан врешь, ты ничего и не видел!

– А вот же, убей меня бог, видел! – отвечал мальчик, в котором обе девочки теперь могли узнать картавого хозяйского сына из того самого двора, чьего ягненка озорница заколола.

– Ну, а если видел – так скажи: что же ты видел?.. – переговаривалась она, продолжая держать против окна рогожу.

– Я видел, что вы нашего ягненка зарезали, – отвечал мальчик.

– Ну вот ты и врешь!

– Нет, видел... я сейчас побегу и тятке скажу.

Тут озорница не стала больше спорить, а переменяла тон:

– Нет, ты слушай... ты, хороший мальчик, этого пустого не сказывай!

– Ан скажу... Зачем вы зарезали?!

– Да на, посмотри, – барашек жив еще.

– Не ври, не ври! Я видел, как ты на него верхом села да по горлу его полоснула!..

– Ну, а вот поди же, посмотри, – он жив..

– А зачем он не кричит?

– А зачем ему кричать, когда ему хорошо. Бяшка! бяшка! Ишь, смотри... хвостиком махает! Поди досмотри, как ему хорошо, – тебе и самому так захочется.

Мальчик хотел посмотреть в окно, но девочка не отвела рогожи, а упорно звала его в избу.

– Поди, – говорила она, – поди сюда в избу... Ишь ты какой молодчик! И чья это только на тебе такая шапка ухастая?

– Шапка дедкина.

– То-то, ты в ней ишь... как купец, пригожий. Она у тебя, гляди, в середке-то еще, должно быть, пуховая?

– С перьями.

– То-то я и вижу, что из нее из середки перо куриное лезет... Поди, я тебе эту дырку в шапке иглой зашью.

– Не надобно.

– Отчего же так не надобно? Иди, дурачок, – я зашью.

– Свои бабы зашьют.

Девчонка бойко его передразнила:

– «Свои бабы зашьют»... Легко ли радость какая в своих бабах! К нам иди – у нас лучше.

– Не надобно.

– Зарядил одно: «не надобно»! Иди, говорю тебе, – увидишь, что надобно будет.

Мальчик стал водить по снегу хворостиною и, заминаясь, повторил:

– А что будет?

– Хорошо поиграем с тобою... Иди скорее!

Мальчик еще больше заколебался и глухо протянул:

– Не чадо было барана резать... Зачем заре-

зала?

– Да полно тебе все про одно, дурак!.. Иди... я за тебя замуж выйду, а она будет свахой, а потом я тебя на ней женю... Иди... хорошо поиграемся.

Маленькая сирена восторжествовала, и еще меньший сатир, в дедкиной шапке на курином пере, будто нехотя пополз к двери избы, куда его поманили на обещанные забавы, а чуть только он отворил дверь и перелез через порог, в дедкином треухе и с огромною хворостиною, озорная девочка сейчас же схватила его за руку и говорит:

– На-ка, игрунок, смотри-ка, где ваш ягненок-то!

– А где же он?

– Вон, вон, гляди, он сигает вверху на полочке!

Мальчик этот был моложе обеих девочек – ему всего было лет десять, но он понимал, что барашек не птица и что ему на полнице быть не пристало; однако мальчик поднял вверх голову, а девочка в ту же секунду нахлобучила ему шапку до подбородка, воткнула ему в горло ножик и толкнула его коленом в спину

так сильно, что он упал ниц, и ножик еще глубже вонзился в его горло.

Мальчик лежал ниц, замирал в тихих, но сильных содроганиях и захлебываясь собственной горячею кровью, которая лилась из раны прямо в шапку и, наполняя ее, быстро задушила его через рот и ноздри. Он не вскрикнул и даже не подал стона, и можно сказать – был убит мастерски, да и сам себя вел молодецки: придя сюда поиграть в мужа, он в самом деле вел себя мужественно – не плакал и не жаловался на женское предательство, а лежал, как жертва коварства и любви, распластав руки вразмет в разные стороны и не выпуская из крепко сжатой ладони ореховой хворостины.

Как шел на свидание, так и умер во всей своей пышной представительности.

Больная девочка, увидя такое происшествие, заголосила и хотела выбежать из избы, но гостя погрозила и ей ножом и сказала:

– Чего ты боишься?.. Он сам наткнулся. Хотел играть – вот и поиграл... Слушай меня, а то и тебе то же будет. Пихай больше хворосту в печь... Мы этого мальчонку сожжем – и

знать ничего не будут, а барашка спечем и поедим убоины.

Больная девочка, дрожа от страха, стала исполнять распоряжения своей гостью: они с очень большим трудом зачихали убитого мальчика в печь, потому что растопыренные руки ребенка и хворостина, которую девочки никак не могли вырвать из окоченевшей руки, давали мальчику самооборону; он растопырился в самом устье печи и не хотел лезть, так что с ним, с мертвым, пришлось бороться и драться. Только после многих трудов и усилий его, наконец, одолели и прочихали в печь, и завалили его хворостом, и зажгли этот хворост, а потом принялись свежевать барана; но дело это тоже пришлось им не по силам.

Чтобы снять кожу с убитого животного, для этого нужно известное умение, которого у девочек не было, и притом они сделали упущение, дав труп барашка заоченеть, после чего освежевать его стало еще труднее. А потому они всё перепортили и бросили, а откромсали кое-как, вместе со шкурою, одну ляжку и принялись ее печь без всякой при-

правы и в той же самой печи, где теперь сожигался убитый мальчик.

Мальчик горел, запихнутый в печь по-дальше, а баранья ляжка пеклась в той же печи, только поближе к устью, и у загнетки стояла робкая девочка-хозяйка, подбивая к огню хворост, а озорная гостья убирала хату, то есть засыпала сором и золою кровь, пролитую на земляной пол, и металась, не зная, куда сбить с глаз долой выпущенную из барана утробу.

В конце она решила закопать ее под лавкою и принялась за это дело.

Простота всех побуждений и приемов этого двойного и прогрессивно восходившего преступления двух малолетних была изумительна! Обе девочки убивали и прятали следы своего преступления чисто по-детски — точно будто играючи... И пока на дворе был свет, они чувствовали себя бодро; но когда короткий зимний день померкнул, на них тотчас же напал страх и они стали соображать, что печку пора бы закрыть и избу «укутать», но этого нельзя было сделать, потому что мальчик еще далеко не сгорел, и казалось,

что он будто даже и не горит, а словно он еще жив и в пылавшем хворосте «ёжится». Девочки старались избавиться от него как можно скорее и спешили набивать в печь нового топлива, и не заметили, как сожгли весь бывший у них запас хвороста, и печь угрожала потухнуть; а между тем в доме, где пропали баранчик и мальчик, к ночи хватились того и другого и начали их искать по дворам, причем искавшие пришли и в избу, где были девочки, и преступление их было открыто: убитого мальчика отыскали «по гари», то есть по пригорелому запаху из печи.

Барашек был еще цел под лавкою, а в печи под пеплом нашли обгорелое туловище ребенка, от которого даже не отпали ни голова, ни оконечности. Девочки во всем признались и были отправлены в острог, а из того, что они сделали, посредством пересказа из уст в уста, составила та басня, которую принес к нам в деревню исцеленный Ефимка.

ХІ

Другой из рассказов Ефимки о том, будто «внучки живую бабку съели», имел в основе своей иное, трогательное происшествие: в вольном селе Мотылях доживала век одинокая старушка, которая много лет провела в господских и купеческих домах, в нянюшках, и «нажила капитал» – целую тысячу рублей (ассигнациями, то есть на нынешние деньги около 280 руб.).

Под старость ей стало тяжело нянчить хозяйских детей, и она захотела уйти «на покой», для чего и решила уехать из города в то село, откуда была родом и где у нее оставались еще какие-то родственники.

Опытные люди отговаривали ее от этого: они представляли ей давно известную опасность, – что тем, кто жизнь прожил в городе, в старых летах возвращаться в село небезопасно. Про такого человека сейчас прославят, что он богач или она «богатея», и тогда того и гляди, что кто-нибудь из родных «соскучится дожидаться» и «приспешит смерти»; но старуху предупреждали напрасно –

она этого дельного предостережения не послушалась.

– Легкое ли дело, что у меня за богатство! – рассуждала она. – Местечко у мира выпрошу, сколько-нибудь денег на вино для старичков испою, а потом избенку себе поставлю да коровенку куплю, – вот всего ничего у меня и останется на овсяный кисель да на еловую домовину... За что меня и убить-то?.. И греха взять не стоит!

Так она и съехала из Орла, от своих почтенных купцов, на деревню, пропоила старичкам три ведерка вина, получила место для хаты, построила избу, завела коровенку и стала жить.

Старушка была хорошая и добрая; она привчала всех и давала от своей коровки молочка бескоровным ребятишкам, а особенно ласкала дочерей своей племянницы, из которых одна, самая младшая, была ее любимицею.

Эту девочку старушка совсем забрала к себе жить и обещала отказать ей по смерти своей и избу, и корову, и «все богатейство».

А сколько было того «всего богатейства», – то было не считано и «не сметно».

Когда настал голодный год, к старушке стало приходиться так много ребятишек, что она не могла уже всем им дать молока от своей коровы. Трем-четырем даст, а больше и нет, и самой похлебать ничего не оставалось. Не привыкла старушка отказывать, да делать нечего – поневоле отказывает, и бедные ребятишки отходят с пустыми плошками... А такие они все жалкие, испытые, даже и не плачут, а только глядят жадно... Думать о них больно. И не знает старушка, как ей быть и как между всеми молочко делить...

Но вдруг все это ее затруднение сразу закончилось: в одну из темных зимних ночей, перед праздником, кто-то увел из сеней ее корову, и следы ее на улице с другими такими же следами попутались, и стало негде искать коровы.

Старуха не согласилась и явку подавать, – сказала:

– Боюсь я, не поклепать бы невинного!

Говорили ей, будто коровка ее по частям разнята и солится в корчагах на большой дороге у постоянного дворика, но старуха таки выдержала себя – не жаловалась.

Шуняли ее и племянники, и поп при встрече ей выговаривал, что нехорошо не заявлять, – что «кто вору потакает, тот сам если и не тать, то на ту же стать»; но старушка все отвела тем, что «бог все знает, – и она не письменная!»

Теперь она осталась при одном киселе и не уставала киселем делиться, но и это по тогдашней всеобщей нужде много значило, и стало это беспокоить старушкину племянницу.

– Кормит-де она мою девочку и обещала ей отказать избу и корову, а вот коровы уже и нетути. Того гляди то же самое выйдет и со всем ее богатством. Все она истравит на чужих ребят, а тогда мне с моими детьми уж ничего и не останется... Лучше бы она, старушка, сделала, если бы теперь поскорей померла!.. Чего ей?.. ведь уж пожила! А то все будет жить да раздавать, и раздаст все так, что после, как помрет, то и попу за похороны дать будет нечего, – еще с нею, с мертвою-то, тогда и наплачешься.

И стала племянничка о своей тетке все больше печалиться и даже начала говорить

ей:

– Ты ту вздумай-ка, баунышка, что ты ведь уже стар человек...

– Стара, дитятко!

– Гляди, уж тебе еще немного на свете маяться.

– День мой – век мой, касатка.

– То-то и есть, а осталось бы, на что тебя схоронить и чем помянуть.

А старуха вдруг оказалась невозмутимо беззаботною.

– И-их-ма! – говорит, – есть про что сгадывать! Умру, так похоронят, наверху земли валяться не оставят!

Так солдатке и не удалось унять старуху от того, чтобы она никого чужих детей не привечала, а благодетельствовала киселем только одним ее солдаткиным детям, и задумала солдатка поправить это на другой манер, пришла к старухе в сумерки и стала опять плакаться:

– Ходила, – говорит, – я нынче весь день – страсть как иззябла вся: в трех деревнях была, а трех ломтей жмыхового хлеба не выпросила... Везде говорят: «Бог подаст, – сами втро-

ем в побор ушли...»

– Тяжко, болезная! – отозвалась старушка. – Всем равно сослано ноне тяжело от господа! А солдатка отвечает:

– Нет, бауныка, не всем равно – вот у тебя еще есть!

– Да, пока еще малость есть... да уж теперь... осталось немножечко.

– Что это?.. Денежек, что ль, остается-то у тебя немножечко?

– Да-а... денежек!.. Немножечко!

– А что же ты будешь делать, когда все сойдет?

– Когда все сойдет-то, что буду тогда делать?

– Да.

– А не знаю еще... не думала.

– Как же так!.. Надо думать... смерть-то ведь за плечами!

– А знамо дело, что за плечами; да что думать-то... думать-то нечего! Ничего, касатка моя, не выдумаешь... Только и есть на свете всех помогаев, что один господь-батюшка... Он же ведь зато и милостив!.. И-и-их сколь милостив!.. Может, он даст... по своей мило-

сти, еще и так со мною сотворит, что я еще всего и что есть, и того не доем, а он и по мою по душу пошлет, – вот ничего думать тогда и не стоит.

– Это хорошо, бабушка, как помрешь!

– А то что ж!.. Я то и говорю... Бог с милостью! Он создает хорошо: помру, и ничего мне не надобно!

– А если как все изведешь да не помрешь?

– Ну так что ж такое: я тогда себе средство найду.

– А какое же теперь средство, когда из всякого двора все сами в побор тронулись, и не знать, у кого можно корку выпросить.

– Ну, это так только в деревнях в одних... издыхают-то!.. да!.. в деревнях в одних... А в городах-то, касатка, не так... там хлеб-то есть у купцов... Там припасено у купцов-то... всего... гляди-ко сколько!..

– Что же ты, в город, что ли, хочешь?

– А что ж! в город сойду... К хозяевам-то к старым приду, да и попрошусь на кухне жить... Пустят!.. Неужли таки выгонят?!.. Чай, не выгонят... Проживу, пока надобно.

– То-то, – отвечает солдатка, – вот оттого ты

такая и щедрая, что тебе хорошо.

– Да, – говорит старуха, – мне, касатка, всю жизнь мою все жилось хорошо. Я не щедрая, а... хорошо мне.

– А нам-то вот худо, а не хорошо.

– Потерпеть надо, касатушка! Нонче все терпят... Голодный год настал!

– Поди-ко ребята-то воют, так не утерпишь... и самому есть хочется... в животе как веретеном сучит... Нам хуже собак... те падло лопают да еще нас за лытки рвут... Вон меня искусали всю!

– Надо с палочкой.

Тут нетерпеливая племянница на тетку и осердилась, что та все ей советы дает, когда той так горько жить!

– Перестань, – говорит, – ты мне тоску отводишь; через эти твои слова еще хуже мне; ведь у нас знакомых купцов нет, нам идти не к кому, а ты вон еще мою девчонку всю избаловала.

– Ну зачем пустое говорить: чем я ее избаловала?

– Как же чем?.. все ее чистым хлебом кормила и побираться не пуцала!

– Что ж, где ей побираться, когда она махонькая!.. А ты ее отпусти со мной: я и ее с собой в город сведу... у меня есть там хозяйева добрые... мои вынянченные; они велят нам с ней и вдвоем жить... будем вдвоем садиться с прислугами.

– А другие-то мои детушки мне, думаешь, разве не жалобны? – говорит солдатка. Тут старушка и задумалась.

– Другие! – говорит. – Да... вот то-то и есть... Еще и другие есть!

Развела руки, и опять задумалась, и стала сама к себе втишь приговаривать:

– Ох, ох-ох-ох!.. Одни да и другие есть... да и много их... Вот и горюшко! А чту сделать-то?

А солдатка, не долго думая, отвечает ей:

– А ты не знаешь, баунька, чту сделать?

– Не знаю, касатынька.

– Вот то-то и оно.

– А ты разве знаешь что-нибудь?

– Я знаю.

– Так ты скажи.

Солдатка задумалась, слов у нее не находилось для выражения того, чту она придумала.

И старушка молчит.

Тягостно-тягостно стало в темной избе, как будто сатана взошел.

Старушка вздохнула и сказала:

– Встань-ка, касатка, подойди к печке, вздуй огня.

А племянница ей грубо ответила:

– А на что тебе огонь – вовсе не надобно.

– Как же не надобно... темно совсем.

– Ну так что ж, что темно?.. Нонче... все без огня... Ложися спать, бауныка!

– Да зачем же так... впотьмах... Надо стать богу помолиться.

– Ну и помолись, бауныка.

Та не поняла или не расслышала и переспросила:

– Что, матушка?

– Помолись, говорю, бауныка.

– Да что ты меня торопишь – придет час, так и помолюсь.

– Нет, бауныка, час уж пришел – скорей молись.

– Да что ты пристала!.. Я стану ложиться спать – помолюсь... Ступай-ка домой, а ко мне девку ночевать посылай, мы с нею станем ло-

житья спать и помолимся.

Тогда солдатка видит, что бабушка бестолкова, и потому ей еще менее причины оставаться в живых, и сказала ей начистоту:

– Нет, ты к себе мою девку не жди, она не придет.

– Отчего не придет?

– А оттого, баунька, что к тебе твой конец пришел. Если не хочешь молиться – так и так будь тебе легкая смёртушка.

Старуха стала приподниматься и спросила:

– Что?..

– Прощай, баунька! – Солдатка всхлипнула, обняла старуху, поцеловала ее и сказала:

– Теперь помирай!

– Что ты это... я не хочу! – и старушка бесильно замахала руками.

– Нет уж все одно... помирай!

И с этими словами солдатка опрокинула «бауньку» на ее же кроватку, накрыла ей лицо подушкой да надавила своей грудью полегонечку, но потом сама вдруг громко вскрикнула и начала тискать старуху без милосердия, а руками ее за руки держала, «чтобы тре-

петания не было».

(Так это все с большою подробностью сама солдатка рассказала при следствии.)

«Баунька» после этого почила скоро, а убийцею сейчас же был сделан в имуществе убитой самый внимательный розыск; но «всех денег» у богачихи в шерстяном пагленке в коробье найдено полтора рубля, и больше ничего у этой богачихи не было.

В этом и заключались ее «все деньги», о которых она с обстоятельностью рассуждала за пару минут до определенной ей «легкой смёртушки».

Но смёртушка бауньки, как ни старалась ее облегчить добрая племянница, – все-таки, видно, трудновата пришлась ей.

Когда рассвело на другой день, солдатка взяла с собою любимую внучку покойной и пошла вместе с нею навестить бабушку, и нашли ее, разумеется, мертвою, а лицо у нее синее и руки в пятнах, а глаза выпучены и язык наруже, длинней Аллилуева.

Девчонка как увидела это, так сейчас затряслась и замерла, а мать говорит ей «не своим ГОЛОСОМ»:

– Ничего не шкни... убью!.. Говори: где у нее были ножницы?

Девчоночка, дрожа, показала молча ручонкою на коробью, в которую уже вчера еще лезла солдатка за деньгами.

Теперь она опять открыла эту коробью, в которой было все перерыто, и, перебросав еще больше лежавшие там ветошки и тряпочки, нашла на дне коробьи безручные ножницы, которыми стригут овец, и, схватив их в дрожащие руки, подошла к мертвой и отрезала у нее выдающийся конец языка; но от этого язык наруже как будто нимало не уменьшился, а только стал еще безобразнее.

Солдатка взглянула на свою работу, взяла за руку девочку и пошла к сотскому, – вошла тихо, помолилась на образ и сказала:

– Вяжи мне руки!

– Что тебе, дура, попритчилось, что ли? – спросил сотский.

– Нет, вяжи руки: я бабку убила.

– Врешь на себя!

– Нет, не вру, – отвечала солдатка и, севши на лавку, раскрыла свою грудь и сказала: – Накось, глядите-ка – вот они тяпочки... Это ко-

гда я ее вчера душисть стала, так она меня зубами за титьку тянула.

Тогда пошли и удостоверились и увидали, что солдатка говорила правду, и связали ей руки и увезли ее в стан, а оттуда – «куда дела требуют».

Через год ее били кнутом в Орле на Ильинской площади. Она была еще молоденькая и очень хорошо сложенная. Ей дали пятнадцать ударов и растерзали ей до кости все бока и спину, но она не потеряла чувств и за каждым ударом вскрикивала: «Понапрасно страдаю!» А когда ее сняли с деревянной кобылы, и она увидала на своей свитке брошенные медные деньги, то заплакала и сказала:

– Не надо мне ничего, сошлите всё в деревню на церковь.

О детях своих она, может быть, позабыла.

И таких преступлений, поразительных по несложности их замыслов и по простоте и холодности их выполнения, было слышно очень много, и очень значительное число их осталось неисследованным и даже неизвестным далее своего околотка. Становые приста-

ва за всем уследить не могли; «корреспондентов» тогда еще не водилось, а в губернских ведомостях все новости состояли из распоряжений начальства о перемещении и увольнении чиновников и, в виде особенно интересных случаев, об отдаче их под суд.

Особенно поразительна была холодность и какая-то легкомысленная жестокость в действиях, затевавшихся с голода. В соседнем с нами селе пастух Игнашка с подпаском, например, захотели «есть убоину» и с этой целью сами вдвоем отлучили одну исправную телом овцу от стада и сволокли ее в лесной овраг, чтобы тут зарезать и начать ее есть; а на деревне сказать, что ее волк съел. Но, спустясь в овраг, они вздумали, что всей овцы им за один день не съесть, а недоеденное мясо протухнет и пропадет даром. Тогда они порешили овцу не зарезывать, а связать ее и *отрезать* у нее у живой столько мяса, сколько им на день нужно, а остальная овца пусть лежит и дожидается. Они так и начали – отрезали у живой овцы «четверть», спекли ее и съели, а остальное оставили в овраге, – а сюда пришел в самом деле волк и прекратил терзательные

мучения овцы и волок и сожрал ее всю без остатка, а пастухи, не найдя овцы на другой день, заподозрили друг друга в краже, подрались и друг друга выдали. Игнашку прозвали «живорезом».

Женский пол, как замужние, так и незамужние, продавали свои труды нипочем: в услуги или на работу поденно охотно набивались «из-за прокорму», но и на этих условиях в деревнях места нельзя было найти. Духовенство набрало себе бесплатных батраков и батрачек, но только в потребном числе, а предложение услуг было безмерно. Цена же женских изделий была невероятная: «конец холста» продавали за полтину медью (7 аршин за 14 копеек), «початок пряжи» – за медную гривну (3 коп.), и фунт хлеба стоил 3 коп. Покупали все это грабительским образом торгаши, которых называют «кошатниками» или «кошкодралами». Они покупают кошек и тут же их убивают о колесную шину телеги или о головашку саней. Цена кошки черной и серой – гривна, а пестрой – пятак меди. Этим же кошкодралам бабы и девки тогда продавали «свою девичью красу», то есть свои волосы, и

весьма часто свою женскую честь, цена на которую, за обилием предложения, пала до того, что женщины и девочки, иногда самые молоденькие, предлагали себя сами, без особой приплаты, «в придачу к кошке». Если кошатник не хотел брать дрянную кошку, то продавщица стонала: «купи, дяденька, хороший мой: я к тебе в сумерки к колодцу выйду». Но кошатники были этим добром изобильны и не на всякую «придачу» льстились; они цинически рассказывали, что им теперь хорошо, потому что «кошка стоит грош *вместе с хозяйкою*». Кошачья шкура была товар, а хозяйка – придачею. И этот взгляд на женщину уже не обижал ее: обижаться было некогда; мученья голода были слишком страшны. С этим же взглядом освоивались и подростки-девочки, которые отдавали себя в таком возрасте, когда еще не переставали быть детьми... Вообще крестьянские женщины тогда продавали свою честь в наших местах за всякую предложенную цену, начиная с медной гривны, но покупатели в деревнях были редки. Более предприимчивые и приглядные бабы уходили в города «к колодцам». И у себя в деревнях

молодые бабы выходили вечерами постоять у колодцев – особенно у таких, на которые подворачивают проездом напоить коней обратные ямщики, прасолы или кошкодралы, и тут в серой мгле повторялось все то, что было и в оны дни у колодца Лаванова. Здесь взаимно омрачала друг друга и старость и юность, и все это буквально за то, чтобы «не околеть с голода»... Не могу теперь ясно ответить, почему сельские женщины и в городах местами своих жертвоприношений избирали «колодцы», у которых они и собирались и стояли кучками с сумерек. Может быть, в других пунктах их прогоняли горожанки. Особенно в этом отношении в Орле прославились крытые колодцы у Михаила Архангела и Плаутин. Кроме того, множество женщин ютилось по пустым баркам, зазимовавшим во льду между Банным мостом и мужским монастырем и его слободкою. Срам это был открытый, но его как-то не вменяли в преступление. Старшие семьянинки не только отпускали молодых на вedomое дело, но еще склоняли к тому, говоря: «чего так-то сидеть: надо сойти в город у колодца *раздобыться*». А молодых

не нужно было много уговаривать: правила их всегда были шатки, а голод – плохой друг добродетели. Молодайки уходили, мало таясь в том, на что они надеются, и бойкие из них часто прямо говорили: «чем голодать – лучше срам принять». Когда они возвращались от колодцев, их не осмеивали и не укоряли, а просто рассказывали: «такая-то пришла... в городе у колодца стояла... разъелась – стала гладкая!»[2]

Кроме «гладкости» или сытости тела, ничто другое не принималось и в соображение. Все высшие цели бытия человеческого словно перестали существовать.

У нас была молодая баба Калерка или Холерка (настоящее имя – Калерия). У нее была прегнусная свекровь, которая «ее сбила в город», и она пошла «у колодцев стоять», но ей так не посчастливилось, что она ни добычи домой не принесла и сама не «послажела», а, напротив, «гнить стала» и сидела всем на ужас в погожие дни на пыльной дороге, без языка, издавая страшную вонь и шипение вместо крика... Ей бросали корки издали, как злой собаке, и отбегали, закрывая себе нос. А

сказу о ней было только, что она «в голодный год у колодца стояла». Эта Холерка, наконец, задавила себя поясом.

О таких делах, бывало, всё «доводят господам», но больше только для новости и приятного развлечения – как фельетоны.

В большом напряжении чувства мы пережили рождественские праздники и, зайдя за крещеньев день, стали чувствовать, что нашей унылости как будто брезжится край. И почувствовалось это по весьма неважному и даже незначительному обстоятельству: отец спросил старосту:

– Что, Дементий, не слыхать ли чего нового?

А староста, который давно давал мрачно один отрицательный ответ, на этот раз отвечал:

– Да вот на поповке есть будто новость!

– А что там такое случилось?

– Да вот Меркул оттуда заезжал и сказывал, что к ним новый дьячок прислан..

– Это на Аллилуево место?

– Да, во его звание... И еще не совсем приделен, а только приукажен, для просмотре-

ния от отца Ниполита.

(Имя «Ипполит» для крестьянского произношения было трудно, они находили удобнее приставлять Н.)

Отец спросил:

– Хорош ли новый дьячок?

А Дементий отвечает:

– Ничего; Меркул сказывал – свистулой поет, но вопче по благословию надо полагать, что не важный.

– А почему?

– Да уж если не сразу приделен, а на время приукажен, для присмотрения должности, так, стало быть, под владычным сумлением.

А через несколько дней тот же Дементий уже по собственному почину сообщил:

– Новый духовенный-то... я вам сказывал?

– Что же такое?

– Ничего не стоящий.

– Отчего?

– Совсем пустопляс!

– Да отчего?.. Что значит пустопляс?.. очень проворен, что ли?..

– Точно так. Пашкой звать.

– Отчего же ты его зовешь Пашкой, а не

Павлом?

– Не стоит он полного звания.

– Да чем же он так плох?

– Совсем никуда не годится.

Обстоятельство было не важное, а стало интересно, что за молодец к нам прибыл «во место Аллилуя» и какое он займет у нас «приделение»?

XII

Прибывший «во место Аллиллуя» Павлушка-дьяк был оригинал и всего менее человек «духовенный» – оттого он по свойствам своим так скоро и получил соответственное прозвание «Пустопляс». Он был сталь беден, что казался беднее всех людей на свете, и, по словам мужиков, пришел «не токма что голый, но ажно синий», и еще он привел с собою мать, а в руках принес лубяной туезок да гармонию, на которой играл так, что у всех, кто его слушал, ноги сами поднимались в пляс.

Имущества у него не было никакого и денег ни гроша. Причт не знал, куда его деть, и поместили Павла и его мать в тесной сторожевой избушке, вместе со сторожем.

Местными дознаниями было открыто, что Павлушкина мать была когда-то дьячихою, а потом ходила в городе по стиркам, а иногда просила милостыни. Павел был ею воспитан в тяжелой доле и мог бы, кажется, постичь жизнь, но не удался – «все клонил к легкомысленности» и за то был исключен из тре-

тъяго класса и долго болтался «без приделе-
нения», и теперь он еще не был совсем опреде-
лен «во место Аллилуя», а пока только был
еще временно приукажен, что выходило вроде
испытания.

У нас, впрочем, все сразу стали уверять,
что из этого приукаженья ничего и не вый-
дет, потому что за очевидные Пашкины мало-
душества отец Ипполит непременно «в отзы-
ве его опорочит».

Павлуша и в самом деле «не потрафлял»: он читал скверно, невнятно и «скорохватом» и все «поспешал на лукавого». Начнет «Отче наш» и зачастит так, что ничего нельзя разо-
братъ, пока придет «от лукавого». Так же и «Иже на всякое время» и прочее – все он «чи-
тал без понятия», но петь мог, только гораздо охотнее пел светское пение, чем «духовное», и любил шутки строить над старшими.

На это сторож жаловался его матери, но та отвечала, что у него такой же был и отец, который был на хорошем месте, а зашутился и пропал без вести – следовательно, Павлу уж нечего и думать, чтоб удержаться.

Павлушина мать была стара и имела пляс-

ку св. Витта, отчего она дергала лицом и при каждом судорожном движении издавала звук «фпт! фпт!».

За это ее называли «Фаптея».

О Павлуше скоро дошли до нас вести, что он очень веселый, и вслед за тем мы очень скоро убедились, что это правда.

Между нашею деревнею и деревнею майора Алымова (в версте от алымовской усадьбы) стоял одинокий двор однодворца Луки Кромсаева, или попросту Кромсая. Кромсай этот под некоторою личиною степенства и скромности был настоящий «шельма-мужик» или «вор-мужик»: он умел из всякого положения извлекать себе выгоды и жил скупно и одиноко, содержа свое семейство в «страхе божием», то есть колотил всех чем ни попало.

Он шинковал водочкой и брал под залог разные вещи, отчего у него можно было найти кое-что такое, чего в деревне у другого не встретишь. Так, между прочим, у него оказалась гитара, которая пришла к нему давно и неизвестно откуда и которую он давно не мог никому «приделить»; но с того момента, как Кромсай увидел Павла-дьячка, гитара нашла

себе «приделение».

Кромсай послушал игру Павла на гармонии и сказал, что эта игра пристала кучерам либо наемщикам, а что у него есть «струмент» – гитара, – так вот это уж можно сказать, что струмент благородный, – и притом он отдаст его Павлу в долг и збдешево.

Пустопляс сейчас же этим соблазнился – пошел к Кромсаю и взял гитару, на которой еще уцелели четыре струны. Павлуша подстроил, как знал, эти четыре струны и заиграл сначала у Кромсая, а потом, проходя мимо нас, зашел в людскую и там привел всех в восторг своею игрою и подпеваньями.

Девушки донесли матушке, что он «такие шутки делает, что и смотреть нельзя».

А как мы тогда все уже очень наскучались, то весть о веселом человеке показалась нам заманчивою, и Павлуша-дьячок был приглашен в комнаты, где действительно произвел очень значительные вещи, которые должны были свидетельствовать о его больших дарованиях.

Он пел много веселого и заунывного и, наконец, дал целое представление во вкусе бра-

тьев Давенпортов, славу которых он мог бы упредить за целые сорок лет.

Павлуша, между прочим, представил у нас с гитарой комическую сцену, имевшую соотношение с претерпеваемым бедствием, то есть с голодом, – и тем «заставил самое горе смеяться». Для этого он сел в темноватом конце комнаты на стул, взял свою гитару о четырех струнах и велел покрыть себя простынею.

И чуть только его укрыли, как он требовал, так сейчас же из-под простыни запели два человека: сначала пела очень слабая и печальная старушка, а ей сразу бойко отвечал веселый старичок.

Старушка выпевала под грустный аккомпанемент:

*Дедушка-а, Си-идор Карпови-ич!
Да когда-ж ты буде-ешь уми-
рать?*

А дед превесело отвечал совсем другим голосом:

*В середу, бабушка, – в середу,
В середу, Пахомьевна, – в середу!*

И дед не только пел, но он присвистывал и

прищелкивал перстами, а бабка начинала хныкать и опять заводила:

Чем тебя помина-ать?

Дед отхватывал:

*Блинками, бабушка, – блинками,
Блинками, Пахомьевна, – блинка-
ми!*

И тут дед притопывал и соловьем свистел, а баба со слезами спрашивала:

Где мучицы взять?

Дед учил:

*По миру, бабушка, – по миру,
По миру, Пахомьевна, – по миру.*

И, разрешив эту задачу, дед хохотал и заливался, а когда старуха пропела с ужасом, что «по миру собаки злы», то дед уже выбивал по гитаре трепака, а сам пел:

*С палочкой, бабушка, – с палоч-
кой,
С палочкой, Пахомьевна, – с па-
лочкой!..*

Это Павлушино представление всех раз-

утешило и сразу же завоевало ему у нас всеобщее благорасположение, в силу которого с этих пор в нашем доме начали Павлом интересоваться и угощать его.

А он к нам «на привет» заходил и принес с собою несколько веселых минут, с которыми мы, сидя в сугробах и слыша одни жалобы на голод, совсем было раззнакомились.

Павел принес первое обновление в замершую жизнь, и бывал он у нас нередко, потому что с того случая, как приобрел гитару, он стал все ходить к Кромсаю, и это моему отцу показалось нехорошо, и он сказал Павлуше:

– Ты Кромсая, смотри, берегись!.. Кромсай – вор-мужик!

Но Павлуша за Кромсая заступался и говорил, что он его «дурному не научает». И у них с Кромсаем завязалась тесная дружба, а к тому же в посту на Кромсая нашло благочестие и рачительство: он пришел к священнику и сказал, что вот у них дома ни у кого хлеба нет, и муки к Благовещенью собрать не у кого, и того гляди опять в этот год придется без просвир сеять; а потому Кромсай надумал – ехать на своей лошади к родным, в сытые ме-

ста, и там муки напросить, а кстати самому в городе от куричьей слепоты и от вередов лекарства попросить. Но, как собирать муку на просфоры есть дело церковное, то Кромсай просил отпустить с ним «во свидетелях» дьячка Павла. Священник на это согласился, и они поехали вдвоем «в сытые места» на четвертой неделе великого поста, но к Благовещению не возвратились. Ждали их нетерпеливо, но напрасно.

XIII

Ждали их по-пустому до самого праздника, но зато как только отпели святую заутреню и попы стали в ряд посреди церкви с лукошками, чтобы все люди подходили к ним христосоваться и класть яйца, то вдруг подошел с желтым, в луке крашенным яйцом и Кромсай.

– Христос воскресе, – говорит, – батюшка; держи яичко.

– Воистину воскресе! – отвечает священник и от радости, не выдержав, тут же стал его спрашивать: – Когда явился?

– А вот в самую в заутреню: когда ты звонить зачал, так я еще за лощиной был... Путался... Чуть, брат, не залился.

– Ну-у! А Павел где ж?

– Ей же ты богу! Мерин-то мой насилу, брат, выскочил!

– Скажи пожалуй!.. Ну, а Павел где ж?

– Его, брат, уж нетути!

– А где же он?

– Он не приехал.

Дальше говорить было нельзя, потому что

это задерживало движение подходящих христосоваться крестьян, и дьякон, заметив непорядок, сказал: «не препятствуйте», а Кромсаю добавил: «Удались!» Тогда священник велел Кромсаю войти в алтарь и подождать, пока он с народом «отцелуется». И когда все люди отцеловались и священник стал в алтаре разоблачаться, то Кромсай поведал ему, что «Павел в городе остался».

– Для чего же он остался?

– Да вот... Сказал мне: «Ты, говорит, поезжай, – а я, говорит, останусь».

– А зачем?

– «Потому, говорит, что мне надо себе... другое приделение».

– Ну, и ты его приделил?

– Не я, а он сам приделился.

Священник подвел Кромсая к окну, из которого видны были могилки, и говорит:

– Всмотрись-ка да «помяни грубы – они вечны домы»: долго ли нам жить-то остается?.. Куда ты Павлушку дел?

Кромсай понял, какое смущение запало в душу священника, и отвечал ему с широкой улыбкой:

– Что ты... Полно, батя!.. Неужли ты думаешь, что я Павлуньку загубил? Жив Павлунька!

– Ты подумай: у него мать Фаптея древняя. Если ей о сыне что-нибудь ужасное сказать – она помрет!..

Но ужасного ничего не было.

Кромсай рассказал только следующее: когда они с Пустоплясом выехали, то Пустопляс будто «все на самого себя обижался». «Что, – говорит, – дядя Кромсай, рассуди ты, какой я неахтительный, что никто меня очень не обожает! И всего у меня средства только одна старушка есть, только к ней к одной у меня есть и жалость на земле, – так что ни для кого, как для нее, я бы даже и в солдаты... Ведь я могу на Кавказ пойти и в офицеры выйти». А Кромсай ему и помог начать всю эту карьеру; он свел его к Николаю Андрееву Воробью, старинному орловскому маклеру, или «сводчику», а тот его как в хоровод завел и «определил идти по найму за бакалейщикова сына».

Священник, услышав неожиданно такую развязку, молча присел на сундучок и только глаза на Кромсая выставил.

– Ну, ты, – говорит, – брат, жиган! недаром, видно, тебя вором кличут!

– А что же «кличут»!.. Кличут-то меня раз-но кличут, а у кого я что-нибудь украл? ан я ничего не украл, а живу честно и благородно. Павлуныка не так пошел, а семьсот серебра получил деньгами, да что еще, брат, гульбы было... Вот бы ты посмотрел!.. А он еще сто рублей прислал матери.

– Ну, лучше бы уж ты у него все последнее с плеч украл, чем этакое добро ему сделал.

– Чего он хотел, то ему и сделано... Чего ты на меня!..

– Ты, Кромсай, жиган, ты нехороший, дурной человек!

– Что ты это?.. за что?.. Разве пропал Павлушка? Он пошел служить богу и великому государю... Ты, сделай милость, в этом оставь меня!

– А сто рублей матери-то его... целы у тебя?

– А ты почему знаешь?

– Верно, не целы?

– Ну, если тебе открыто, то что же спорить... Не целы!

– Вот ведь какая твоя совесть!

– Что же совесть!.. Я их вез и довез до самой лощины. А тут звон услышал и в зажор сел... Сделай милость – это хоть и на тебя доведись: провались хоть и ты под снег, так небось все покинешь, а одну свою душу начнешь спасать! Мерин биться стал... Я, брат, весь растерялся:

и два куля хлеба при мне были, – вез на просвиры, – и те оба там в зажоре погубил.

– Там и деньги пропали?

– Все там осталось. Тридцать рублей, которые вез бумажками, те как на кресте были привязаны, так они и уцелели, а семьдесят, которые были серебряными монетами: рубли и полтинники – с сапогом вместе снялись и из-за голенища потонули.

Священник выслушал, поднялся с места и сказал Кромсаю:

– Ну да и подлец же ты!

– Хорошо, что хоть ты честный! – вздохнул Кромсай.

– Ну смотри же: вспомни мое слово – за это разразит тебя Бог!

Это над Кромсаем очень скоро и исполнилось.[3]

XIV

Во вторник на Фоминой неделе, никому не в примету, с какой стороны, взялась на небе серая тучка, и вдруг начала темнеть, расти и пучиться, и расползлась страшно, приняв такие очертания, как баснословный пард или перуносный змей с лапами, и полезло это чудище прямо-прямышенько на Кромсаев двор. Это все видели. И как только туча надошла над Кромсаем, так она сейчас же сверкнула огнем и ударила прямо в чулан, в то место, где у Кромсая была примощена короватка, на которой он спал, а под короваткой стояла у него заветная коробья, раскрашенная цветами и под лаком. Все это так «феварком и загорелось». Но при этом еще показалось удивительно, что из всего добра, которое тут было и которое сгорело, – выкинуло вверх только одну доску от цветной коробьи, и когда она упала на землю и ее осмотрели, то увидали, что к ней прилипло несколько штук копеечек, и все их раскинуло треугольником, а как раз посредине угла сидел серебряный рубль, – будто глаз глядел.

Как увидали это люди, то все удивились и заговорили: «Это чудо! надо это показать священнику». И показали. А священник посмотрел и Кромсаю перстом погрозил.

Тогда Кромсай побледнел и стал каяться, что он утаил у Фаптеи семьдесят рублей и что они были целы и береглись в узелке под подушкою, да вот это их-то молоньей и раскинуло, и эти монетки, которые влипли в доску, действительно были из тех утаенных денег.

А когда после пожара стали разгребать пепел, то нашли слиток серебра и возле него другое чудо: деньги сплавились, а возле них лежала остывшая «громовая стрела», или «чертов палец».

Кромсай от этого пришел в такой ужас, что сейчас же стал жертвовать этот слиток на церковь, но священник недоумевал: можно ли брать эти деньги, так как «наемщик», или заместитель в солдатах, почитался тогда в народе за что-то очень гадкое и приравнялся ко «псу продажному» (хотя псы себя никогда не продают). А во Второзаконии (XXIII, 18) есть запрещение: «да не принесеши и храм мзды блудничи и цены песии»; но благочин-

ный это разрешил. Он сказал, что «Второзаконие действовало при Ветхом завете, а теперь, при Новом, – все новое».

Страшная гроза, спалившая Кромсаев двор, оживила наш воздух. Предчувствовалось уже в те дни, что голоду наступает конец и близятся «времена отрады». Городские жители начинали вспоминать о своих деревенских друзьях и родственниках и посещать их. Мы снова входили в общение с миром.

XV

Перед тем как растаять речке, к нам приехала тетушка Пелагея Дмитриевна, которую, в ранние ее годы, в родстве все называли «проказница». Впрочем, у нее была репутация очень многосторонняя и сложная, и соответственно различным ее фазисам и переходам ей давалось «новое имя».

Пелагея Дмитриевна, или, по-домашнему, «тетя Полли», была княгиня и год тому назад выдала старшую дочь замуж за очень именитого князя.

Тетушка всегда была прекрасный человек, но в молодости, когда на нее сердились и потом, помирясь с нею, называли ее «проказницей», – она «страдала самордаками». «Самордаки» – это такая болезнь, совмещавшая фантазию и упрямство. Своего рода «блажь». Самордаки у тети совсем никогда и не прошли, а только «переблажились». В голодный год она заблажила тем, что не продала ни пуда муки, а все искормила на детских мужиков, над которыми она была опекуншей, и завела такое баловство, что все мужики и бабы при-

водили с собою к ней на двор своих детей и все у нее наедались.

На это двое ее соседей обращали внимание предводителя и указывали, что она, как опекунша, таких расходов допускать не смеет, – тем более что своим примером она других подводит к опасности; и предводитель ей делал замечание, но «не мог запретить». Тетя отвечала, что она «хочет идти под суд».

Вообще тетя Полли была особа живая, смелая и интересная, и одолеть ее – была не шутка...

Суда она не боялась, потому что держала в своей совести суд над собою.

Теперь ей было уже лет за сорок, но она была еще очень красива: высокая, стройная, – что называется, «король-баба», – с черными как смоль густыми волосами, которые вились у лба и у пробора на темени, и с большими серыми глазами, которые у нее «умели говорить все, что она хотела».

Недавно умерший Николай Антонович Ра-тынский, который был значительно меня старше и знал наше орловское родство, говорил мне, будто Тургенев с тети Полли нарисо-

вал в своем «Помещике» ту барыню, о которой сказал, что она «была не вздор в наш век болезненный и хилый».

Разумеется, описанное в «Помещике» лицо имело сходство с тетей Полли только во внешности, а в свойствах духа у них была схожесть разве в «победоносности» и в неукротимой энергии и настойчивости.

*Победоносный, светлый взор, —
Все в ней дышало древней силой.*

Впрочем, как тетья Полли была оригинальное и характерное лицо дворянского круга глухой поры (тридцатых годов) и так как ее «блажь» составляла в голодный год некоторое исключительное явление, то мне кажется, что о ней стоит рассказать поподробнее.

Выше уже сказано, что она пользовалась репутацией «проказницы», но слава ее в этом роде была сильно раздута. Танта (как мы ее тоже называли) по положению своему принадлежала к губернской знати, но по живости своего ума и характера была лицо всесловное. Она держалась со всеми как нельзя более просто, «знала все обстоятельства» и да-

же очень любила подшутить над родовитым невежеством. Первый муж ее был богат, сучен и тучен, но не именит и никаким особенным вниманием и влиянием не пользовался, но рок, однако, судил так, что он целые полгода исправлял «по случаю» предводительскую должность и с достоинством умер в этом почтенном звании.

Тетушка овдовела очень молодою, она имела всего не более двадцати трех или четырех лет и уже была матерью трех дочерей.

Если бы не дети, то очень могло стать, что тетушка пошла бы в монастырь, так как у нас в Орле это тогда было в моде между дворянством (с чего и написана Лиза у Тургенева); но дети этому помешали. Они же дали чувствам тети и другое направление, а это последовало вскоре после смерти отца, когда все дети вдруг опасно заболели.

Болезнь была из «прилипчивых», и родные молодой вдовы все ее покинули. Это в благородном сословии и тогда уже было в моде и практиковалось без зазрения совести. О положении тетушки дошла весть в Послово, где жила в замкнутом одиночестве именитая

Г-жа княгиня Д*, знатная дама, занимавшая перед тем видную «позицию», но вдруг чем-то кому-то не угодившая и удаленная.

Говорили, будто она живет в Послове поневоле и «пребывает» тут одним лишь телом, а что «душа ее не тут» – она живет «в недостижимых сферах». Сама же княгиня Д* не считала себя равною ни с кем и не допускала к себе никого. У нее была собственная церковь, собственный поп и собственный врач, которому она не позволяла лечить никого, кроме ее особы.

Этот врач был француз, с качествами известного по пьесе Дьяченко французского гувернера – м-г Дорси: он был и пуст, и ветрен, и хорош собой, и великодушен.

Узнав через людей, что в соседнем селе так безжалостно всеми брошена молодая и притом очень интересная вдова с больными детьми, он «взбунтовался» и объявил своей важной даме, что он «едет лечить соседкиных детей».

Дама об этом и слышать не хотела, но он продолжал настаивать, и когда люди не стали ему запрягать лошадей, то он завязал шею

шарфом, надел теплые сапоги с мехом и пришел к тете по снегу четыре или пять верст пешком.

Разумеется, он был встречен тетей как ангел-утешитель, и оказался вполне достойным такой встречи.

Он «воскресил детей» и тем, понятно, произвел неотразимое влияние на сердце молодой матери. Княгиня Д* была поставлена этим случаем в очень большие затруднения. Сначала она сердилась и три дня не обращала внимания, а потом позвала управителя и велела ему подать объявление, что «пропал француз»... Доктор и тетя об этом узнали и оба смеялись... Им было хорошо и радостно, потому что дети выздоравливали, а они были поглощены таким увлечением, которое делало для них чужие сердечные страдания смешными... Это вызвало со стороны княгини Д* ряд мероприятий, из которых одно было очень решительное и имело успех: она сначала прислала сказать доктору, чтобы он не смел к ней возвращаться из заразного дома; а потом, когда увидела, что он и в самом деле не возвращается, она прислала его звать, так

как с нею случился припадок какой-то жестокой болезни, и наконец, через полтора месяца, когда пришла весна и природа, одевшаяся в зелень, выманила француза в лес, пострелять куропаток для завтрака тети, на него внезапно напали четыре человека в масках, отняли у него ружье, завернули его в ковер и отнесли на руках в скрытую на лесной дороге коляску и таким образом доставили его княгине... Здесь с ним было или только ему угрожало происшествие смешное и тяжкое, из которого он вышел благополучно только благодаря тому, что изъявил согласие сию же минуту, немедленно, сочетаться с княгиней Д* законным браком, что и было исполнено в ее собственной церкви, ее священником и при ее людях...

Тетушка узнала об этом только на другой день и горько плакала – участь бедного француза казалась ей необыкновенно трогательною, и она укоряла себя, зачем она сама была так увлечена обаятельностью своего положения, что не оформила всего по образцу княгини. Ведь это было так просто и так возможно, и даже не нужно было этих низких угроз, ко-

торыми и его и себя унизила Д*... Он бы сам охотно на все согласился... Но уж дело было потеряно, и вдобавок требовался корректив, и тетушка, как думали, запылала мщением и «не снесла обиды», а отомстила княгине как настоящая «проказница»: она, совершенно ни с кем не посоветовавшись и для всех неожиданно, вышла замуж за князя С-ва, в котором только то и было, что он был молод и холост, но совсем необразован, и вдобавок, по совершенной бедности, служил квартальным...

XVI

Мésalliance[4] был самый полнейший, но мщение все-таки было совершено: Д* – родовая княгиня – через замужество с французским лекаришкой потеряла княжескую корону, а наша милая тетя возложила ее на себя и на свое нисходящее потомство, так как князь С-в был действительный, настоящий князь, из «Рюриковичей», и в гербе у него стояли многозначительные слова: «*не по грамоте*».

Словом – какой это ни был опрометчивый поступок, но тетушка о нем не сожалела, так как она и вообще не сожалела никогда о том, что уже случилось, а держалась того правила: «что укоротишь – того не воротишь: надо с другого конца надшивать или надвязывать».

Впрочем, ее князь не был совсем особенно плох: в нем было что-то «породистое», и самую «форму квартального» он носил с военным шиком. С этой стороны он был замечен и ради того по представительности своей был отличен начальством и употреблялся для сношений с благородными лицами города. А по-

тому, когда представилась надобность объявить тетушке бумагу, присланную из московского опекунского совета, о каких-то ее опекунских делах, то по распоряжению полицеймейстера к ней был послан с этою бумагою квартальный-князь, и он был принят тетушкою не так, как принимали обыкновенных квартальных. Тетушка велела позвать его к себе в зал, где она сидела в это время в распашном пеньюаре за утренним чаем, и, посмотрев на него, пригласила его сесть – что было тоже необычайностью для лиц его сана.

Князь сел, и пока тетушка пробежала принесенную ей бумагу и потом потребовала себе перо и чернильницу для того, чтобы расписаться «о прочтении оной», она успела «бросить на него взгляд ока» и сейчас же сообразила: на что находящийся перед нею человек может быть годен и как за это дело надо взяться.

А дело не допускало промедления.

XVII

С-в тут же получил от тетушки поручение по какому-то частному ее делу – по поводу каких-то ее хлопот с принадлежащим ей пушторожным местом на берегу, где производилась погрузка хлеба на барки, – и князь исполнил данное ему поручение охотно, быстро и с блестящим успехом.

За это он был вознагражден денежным подарком сверх меры и заслуг и кроме того удостоился разговора, вхожего в его положение, которое тетушка находила не соответствовавшим его родовому званию, так как князя С-вы в самом деле принадлежали к «Рюриковичам» и были князя «не по грамоте».

С-в был не глуп и не умен, а то, что называется «человек средний», и участие довольно именитой и весьма интересной дамы его так тронуло и согрело, что он расчувствовался и осмелился поцеловать поданную ему на прощанье руку. Тогда это, впрочем, было в обычае, и тетушка этим не обиделась и даже обещала ему принять в нем участие и о нем подумать.

Князь был в восторге и провел несколько дней в размышлении: как бы настроить ее так, чтобы она выпросила ему у губернатора место смотрителя тюремного замка или где-нибудь городничего.

Но тетушка имела на него гораздо более важные виды: через несколько дней она позвала его к себе и спросила, не хочет ли он «изменить свой карьер».

Князь был готов на все и несказанно обрадовался, когда услышал, что тетушка желает принять его к себе управителем. Он сейчас же подал в отставку, снял квартальническую форму и переселился в тетушкино имение, где приучался к хозяйству под ее непосредственным руководством и для того ездил с ней вдвоем в кабриолете без кучера, а жил во флигеле, но потом в один прекрасный день переведен в дом и обвенчан с хозяйкою в их деревенской церкви, точно так же скромно, как Д* обвенчалась у себя с французом.

Бывшая Д*, не будучи нимало знакома с тантою, прислала ее поздравить «от себя и от мужа». Это была дерзость, но тетя была умна и не обратила на это внимания, а в возна-

граждение за то француз прислал ей двусмысленное утешение, состоявшее из одной фразы: «Le nombre des sots est infini».[5]

Тетушку и это уже не занимало: она усиленно хозяйничала, и один раз, поехав на поле, так растряслась по кочкам, что в тот же день бог дал ей дочь – прехорошенькую княжну. К счастью, ребенок хотя пришел на свет немножко и рановременно, но это ему не повредило.

Маленькая неудача сказалась в другом: тихий и благопристойный Рюрикович, после того как тетушка к нему поближе присмотрелась, не выдержал самой снисходительной критики и оказался еще скучнее первого ее мужа, предводителя.

Кроме того, тете неприятно было, что князь все болтался и ничего не делал, и вдобавок – как она убедилась – ничего и не умел делать, кроме клеенья коробочек из картона и цветной бумаги с золотыми бордюрами.

По мнению родных, тетя сама была во многом виновата, потому что она была со своим князем *очень суха*; но потом это переменялось, и она сделалась к нему матерински

нежна и неожиданно устроила его вполне по его вкусу: как он когда-то мечтал, так и получил вдруг место городничего в отдаленном городе, куда отбыл один, и его лет шесть не видали. Во все это время про князя никто и не говорил, а тетя-княгиня заперлась от всех и «предалась книгам». Дети, книги и хозяйство ее поглотили, и о ней стали говорить, что она «вознеслась над жизнью». Но вдруг князь потерял место и снова прибыл в деревню. Танта отвела ему помещение в мезонине, даже пожертвовала ему свой письменный стол для кабинета, но сама осталась при дочерях, из которых старшая, Сусанна, *некняжна*, имела в это время уже шестнадцать лет и смотрела невестою.

Она и две ее младшие, единокровные и единоутробные сестры, очень любили мать и ее младшую дочку *княжну* Валю, но самого князя не могли переносить.

И в самом деле, все они были в мать – «ужасные читалки и игралки», – то есть вечно были за книгой или за музыкальными занятиями, и их занимали живые бытовые вопросы и литература, а князя не занимало ни-

что. Если он не клеил коробок, то он только мог ходить да свистать или сидел в своих комнатах у окна и переговаривался с проходящими мимо бабами и мужиками – и всегда о пустяках. Всякое обращение с книгою ему было противно, и хотя он знал, что он невежда и что это нехорошо, но преодолеть свою вражду к книге не мог.

Он понимал, что он своей жене не пара и что «попал в честь по случаю», и терпел это и не нахальничал. Он только завидовал, что жена его, при ее запасе врожденного ума и начитанности, всегда занята и всегда ей везде весело, а ему везде скучно, – и единственное ему спасение – быть городничим, – ходить, свистать и покрикивать.

В семье из этого ничего стройного не вышло, и благодаря тому, что падчерицы его не всегда умели скрыть, что он им неприятен и что они страдают за свою умную и образованную мать, видя ее женою такого остолопа, – князь страдал от своего положения и даже стал возбуждать к себе сострадание в сердце очень чувствительной и доброй танты.

Тетя стала за него заступаться и говорила

дочерям:

– Что он вам мешает? Он очень простой человек, но что же он делает вредного?.. Он проводит время, как умеет, и его можно оставить в покое. Он и без того всех избегает и вечно один.

И княгиня стала навещать бедного князя в его уединении, и чтобы это не имело вид сентиментальности, она писала письма на письменном столе, перенесенном в его кабинет. Так шли дела в течение всей зимы, а по весне Сусанна один раз окинула мать испытующим взглядом и сказала:

– Однако что же это, мама?!

– Что такое? – спросила тетя и покраснела.

– То-то и есть, мама... вы краснеете!.. И должно краснеть!

– Чего же мне краснеть! – отозвалась, оправясь, тетя.

– Того, что мы уже взрослые, а вы... ходите письма писать... Мы перенесем ваш письменный стол в вашу комнату.

Но дело было уже непоправимо, и у Сусанны с ее сестрами явился еще маленький братец. Ребенка опять все любили и ласкали,

кроме самого князя, у которого это удовольствие было отнято, и на этот раз – увы! – навсегда. Князю снова достали соответственное городничеству место на Кавказе, и он там ходил, курил, свистал и покрикивал и там же и умер, выкупавшись после жирного обеда в холодном Тереке.

Смерть мужа, взятого точно напрокат и поставленного невесть на какую позицию, уязвила сердце тети сознанием своего греха перед этим человеком, который был принесен ею в жертву самым эгоистическим соображениям весьма ничтожного свойства. Он, живой человек, пришедший в мир, чтобы свободно исполнить на земле какое-то свое назначение, был обращен ею в метелку, которою она замахнула сорный след своего коллоброда, и потом смыла его с рук и сбросила в Терек...

Ей было ужасно стыдно и ужасно его жаль, – и она заперлась в спальне и плакала о нем много и долго, и тут же, запершись, в уединении от дочерей, которые не могли сдерживать своего презрения к захудалому глуповатому «Рюриковичу», исполнявшему и

глуповатую роль в жизни, – она обдумала себя. Девиц и теперь раздражало и обижало, что мать была так потрясена событием и относилась к князю с «чувством»... Они были в том «счастливом» возрасте, который дает возможность рассуждать обо всем не только очень эгоистично, но и очень ошибочно, и им было *стыдно* за то, что «она, значит, все-таки его любила»... Им, для их семейного достоинства, не хотелось, чтобы это было так; но они не понимали, что это именно *так* и не было! Тетя Полли не оплакивала и князе человека, которого бы она предпочитала всем другим людям, – что выражает банальное требование так называемой «любви», – но она оплакивала в нем человека-брата, которого она встретила случайно, заставила его проделать все, что хотела, и к которому не оказала благоволения. Какие бы доводы ей ни представляли, что она ни в чем перед ним не виновата, она чувствовала свою вину и хотела утолить ее. Тетя сделала траур двум младшим детям и сама надела черное платье, – отстояла на коленях заупокойную обедню, и панихиду, и еще ряд других панихид, но утоления не было: по-

кой к ней не приходил. Она находила, что это все не то... И вот она вдруг уехала куда-то парю, в маленькой бричонке с одним кучеренком, и, возвратись через десять дней, сказала, что она была в Оптиной пустыни «у старца», но на расспросы о том: чту там такое? – с странною рассеянностью отвечала: «Опять все это не то». И подаренные ей старцем маленькие книжечки она прочла раз и более их не открывала: опять было «не то». Она послала к приходскому священнику, чтобы тот дал ей Библию. Но Библии в церковном обиходе не было. За нею послали в Орел, но и в Орле продажной Библии не нашли, а достали ее «почитать» у семинарского ректора, и то с предварением от своего священника, что «это книга мирская и читать ее небезопасно».

И другие тоже пробовали отговаривать тетьку, «чтобы не сошла с ума, прочитав Библию»; но она была «неимоверная»: она таки прочитала всю Библию и, разумеется, как следует, – сошла с ума и начала делать явные несообразности.

XVIII

Так, например, окончив чтение Библии, тетья не задала себе труда повторять это, как делают многие одолевшие названную книгу, а она отложила ее в сторону раз и навсегда и «понесла фантазии» вроде того, что «хороших времен еще не было» или что «лучшая жизнь на земле будет впереди нас, а не та, которая осталась позади нас»... И она в это не только верила, но говорила, что «в такой вере только и находит силу жить и трудиться для того, чтобы равнять путь лучшему», которое идет и непременно придет – когда «горы и юдоли сравняются и лев ляжет с ягненком и не навредит ему».

Эти «глупости» танты основательные люди передавали друг другу и, весело смеясь, называли ее лицемерной фантазеркой и даже дурой. Прежнее игривое наименование «проказницы» было уже теперь для нее слабо, так как оно не выражало опасного характера ее нынешнего настроения, и то старое название было у нее отнято.

– *Была проказница, – говорили о ней, – но*

тогда была зато хоть живая и преинтересная, а теперь стала бог знает на что похожая – противная, скучная фантазерка, с которой старикам нечего делать, потому что она их не слушает, а молодежь... даже страшно оставлять с нею!

Один из основательных дворян, имевших «голос в собрании и в обществе», во время выборов сделал заявление, что следовало бы обратить внимание на то, в каком духе танта воспитывает своих дочерей. Но предводитель, очень добрый и мягкий человек, нашел, что как у княгини все ее дочери – девочки, то как бы она их ни воспитывала – это не важно.

Воспитывала же она их странно – без учителей, – всему обучая их сама, при содействии выписанной из Англии *квакерши*, Гильдегарды Васильевны, которая была бы чрезвычайно красива, если бы «совершенно себя не безобразила», нося постоянно серое платье в складках и летом широкую соломенную шляпу, а зимою маленькую теплую черную шапочку «с затылком и с ушками, без всякого фасона».

Притом танта с этою квакершею сделались

неразрывными друзьями и ни с кем не церемонились.

К ним можно было заехать, и они всякого гостя встречали очень приветливо, но всегда прямо желали узнавать: чем они ему могут быть полезными. И затем сию же минуту делали для него все, что могли, но потом, сделавши это, тотчас же к нему, или к ней, охладевали и держали себя с гостями, как будто «занимать» его или ее совсем не их обязанность. Они оставляли приезжих в покое и сами обращались к своим обыденным занятиям, в которых наблюдали строгий порядок — очень противный для людей с истинной «широкой натурой».

Кончилось это тем, что стали находить, будто у бывшей «милой проказницы» огрубели манеры и пропала женственность. Она стала носить бессменно однообразного, самого простого фасона черное шерстяное платье зимою и такое же светлое ситцевое платье летом; лечила у крестьян самые неопрятные болезни, сама своими руками обмывала их раны и делала кровавые разрезы и другие простые операции, и при этом ни за что не хоте-

да поручить присмотр за больным горничным девушкам, ибо она находила, что горничные слишком деликатны и «нос воротят». Вообще тетя Полли стала будто резка и даже иногда употребляла «Антошины словечки». Оно так и было: тетя выражалась порою немножко во вкусе Антона Антоновича Сквозника-Дмухановского, называя вещи их прямыми именами, что, впрочем, в ее устах не было ни плоско, ни грубо, а только прямо и образно. Так же резки казались и ее чувства, в которых не находили самого необходимого – раскаяния и сожаления о прошлом, – что ей очень бы и очень не мешало... На это даже и обращали иногда ее внимание и говорили: кто хочет показать другим лучший образ жизни, тот не должен никогда забывать своего худшего. «Врачу, исцелися сам!»

Тетя за эти намеки нимало не сердилась и от них не конфузилась: она, без сомнения, понимала, во что люди метили, но все слушала спокойно и, выслушав, отвечала:

– По отношению ко мне все это совершенно справедливо, и я постоянно чувствую, как нехорошо иметь неопрятное прошлое, – чи-

стых не в чем упрекать и на них выдумывают, а о нас можно говорить правду, которая тяжелее всякой лжи, – но то дурное, что я делала, я уже оставила.

Мама раз заметила ей, что, «перестав грешить, надо начать каяться», но тетя ответила ей:

– Насчет раскаянии мнения различны; но я не нахожу никакой пользы в том, чтобы порочный человек, сознав свои дурные дела, сидел бы и все смотрел на свой живот, как это делают какие-то чудаки в Индии. У очень многих людей в их прошедшем есть порядочное болото, но что же пользы возиться в этом болоте? Лучше поскорее встать да отряхнуться и идти доброй дорогой.

Так она и жила, «отряхнувшись», и не хотела жить иначе, и, несмотря на все ее «порядочное болото в прошлом», личность ее стала казаться светлою и получила такую привлекательность, что к ней широко запылала любовь во множестве сердец.

Ее дочери, которые унаследовали не все ее свойства, напрасно боялись, что ее пассаж со вторым браком повредит их карьере: одна из

этих дочерей очень скоро и очень приятно разочаровалась в этом, потому что прибывший в их местность для принятия наследства молодой сын именитого вельможи, князь Z., один раз побывав у тети Полли, так полюбил ее, и ее Гильдегарду, и всё их семейство, что не захотел оставаться чужим этой семье и твердо настоял на том, чтобы ему был разрешен брак с ее старшею дочерью, с тою самою Сусанной, которая была груба к матери, стыдилась ее беременности, а потом еще более стыдилась этой своей выходки и сделалась образцом дочерней любви и уважения к матери.

Это было наградою тете Полли, которая сама себя почитала «во всех статьях неисправною» и никого не бралась исправлять, но до самозабвения восторгалась, когда видела, что люди «ни от чего исправляются».

Ни от чего!..

Она была бы до слез смущена, если бы ей доказали, что это «ничто» была сама она, ушедшая «от своего болота».

Так преобразил ее тот, кто жалеет об утрате одной овцы и, хватившись ее, оставляет де-

вяносто девять овец, идущих своею дорогою, и ищет в кустах и тернии потерявшую путь одну овцу, и находит ее, берет ее на свои священные руки, и несет, и радуется, и дает радость всем, кому понятна и дорога радость, что *ожил человек!*

Личных утешений тетя Полли с тех пор не искала, но они ее иногда находили, и одно такое прекрасное утешение осветило ее закат: ее зять, муж Сусанны, отличился благороднейшею деятельностью при «освободительных работах» в царствование Александра II. И тетя, при получении известия об этом, плакала радостными слезами на груди у своей Гильдегарды и сама себя перебивала словами:

– Нет, за что же?.. За что мне так много дано, когда я так мало стою!

Но, увлекаясь воспоминаниями о тете Полли, я отступаю от порядка повествования, с которым здесь пора кончить.

Возвращаюсь к тому, когда тетушка приехала к нам в деревню, измученную голодом, которому уже был виден предел, но к которому теперь присоединились повальные болез-

ни; они сложили на землю половину живущих и навели уныние и страх на другую половину.

XIX

Тетя Полли собственно была вызвана к нам отцом, который описал ей наше унылое состояние, и она сейчас же приехала вместе с Гильдегардою и привезла успокоение и радости.

Эта женщина всегда привозила с собою, во-первых, свою непобедимую и никогда ее не оставлявшую благородную веселость; а потом непременно всем людям и детям по подарку. *Дарить* — это была ее слабость и ее радость, и она имела удивительную способность всех помнить и всякому подобрать подарок, подходящий по его потребности и по вкусу.

Женщинам дарились головные платки, горничным — ситцы на платья, лакею — «отрез на жилет», кучеру — «касандрійская рубаха», скотнику — рукавицы, но более всего привозилось дешевых алых лент — деревенским девочкам на «косоплетки».

Эти косоплетки, нарезанные кусочками соответственного размера, тетя всегда имела у себя в запасе в кармане платья, и где бы ни

встретила девчонку, она подзывала ее к себе и дарила всегда с шуткою:

– Девки! девки! подите ко мне, я вас осчастливорю!.. Натя вам – в косы заплетите... Ты чернуха – тебе вот ленточка алая, а ты белый таракан – тебе лучше будет синенькую...

«Осчастливленные» просиявали от счастья и с разгоревшимися глазенками бежали за тетей и просили, чтобы к алой была прибавлена синенькая, а к синенькой – аленькая, и тетя увлекалась радостью детей и им не отказывала, а иногда брала девочек и целовала их не совсем чистые лица, приговаривая:

– Ах вы, рожицы!.. Тоже щеголихи!.. Натя вам, чумазые! натя!

И ленты летели в толпу, и деревня расцветалась пестротой девичьих косоплеток.

Видно было, что «баловница приехала».

Было ли после этого чему удивляться, что эта «баловница» (сколько у нее было прозвищ!..) была в то же время и общая любимица и что такое лицо, как она, в лихую годину сразу одним своим появлением наполняла сердца людей доверием и упованием, облегчающими в значительной мере всякое горе и

«всякую язю в людех»?!

А тетя Полли и Гильдегарда теперь и пришли к нам с нарочитою целью – принести облегчение больным, которых было полдеревни и которые валялись и мерли в своих промозглых избах без всякой помощи.

Какая это была болезнь – я не помню, но знаю, что над распознаванием ее по правилам науки никто не трудился. Уездные врачи (которых тогда было по одному на уезд) делали только судебные «вскрытия», а лечить больных времени не имели; отец мой обладал «Лечебником штаб-доктора Егора Каменецкого», но не имел дара лечить; матушка боялась заразы, а француз-доктор, женатый на нашей богатой соседке, бывшей княгине Д*, еще в самом начале голодного года покинул жену и уехал от снежных сугробов России на свою цветущую родину, а оттуда в палящие степи Африки, где охотился на львов вместе с Клодом Жераром.

Мы были совершенно беспомощны и знали о болезни, убивавшей крестьян, только такие симптомы, что у них сначала «заболит голова, а потом на нутре сверлит, а потом весь

человек слаб делается» и валяется, пока «потмится в лице, и дух вон».

У тетушки и у Гильдегарды Васильевны был талант к лечению больных крестьян, и им это было нипочем, так как они не боялись заразиться. Болезнь, которою умирали наши крестьяне, началась было на деревне и у тети Полли, но там ей не дали развиваться. Тетя и Гильдегарда тотчас же отделяли больных из семьи и клали их в просторную столярную мастерскую, где и лечили их, чем знали, с хорошим успехом.

Теперь у них все было благополучно, и они явились на помощь к нам во всеоружии своей духовной мощи и знаний и с запасом потребных лекарств. Но более всего полезен был их мощный дух, присутствие которого сразу изменяло весь ход и настроение нашей жизни.

Тетя Полли не успела еще снять с себя в передней свой темно-зеленый шелковый ва-тошник, как уже давала тон и направление.

Первые слова ее были к отцу:

– Ну что это за стыд!.. мы проехали всю вашу деревню и не слышали ни как гусь гогочет,

ни как корова мычит. Здравствуй, брат!.. Или у вас уже совсем нет коров?

Отец поцеловал у нее обе руки и отвечал, что на деревне осталась всего одна корова у старосты.

– Ах да!.. И правда!.. Я ее, должно быть, видела... Бурая?.. Но мне показалось, что это неживое чучело.

Такой разговор произошел еще на самом пороге, и затем это так и продолжалось в живом и энергичном тоне и с одним и тем же над всем преобладающим стремлением поставить все ниже забот о деревне.

Тетя ласкала нас – более руками и взглядами – и в то же время задавала отцу вопросы, требовавшие немедленного исполнения ее просьб или приказаний, которые вытекали из каждого обстоятельства и шли одно за другим в быстром, но стройном порядке.

Тетя спрашивала: «Сколько больных на деревне?» И видя, что отец затрудняется точным ответом, сейчас же сама за него отвечала:

– Ты не знаешь?.. Это недурно для начала со стороны христианина и помещика средней

руки!.. А могу ли и видеть твоего старосту или кого-нибудь, кто у тебя есть поумнее и у кого меньше упрямства и предрассудков?.. У тебя был, я помню, где-то за усадьбой пустой половень.

– Он сгорел, – отвечал отец.

– Вот как!.. Верно, от грозы?

– Нет, – мои дураки там колдовали с человеческим салом.

– Как это?

Отец рассказал ей известную историю со свечой из Кожиёнова сала, от которой сгорел половень.

Тетя пила чай и слушала историю без улыбки, без ужаса и без гримас и только посмотрела вбок на Гильдегарду, которая тоже окинула ее ответным взглядом, и было ясно, что им не надо было говорить более, чтобы понимать друг друга.

Когда был кончен рассказ о свече и о всем том, что записано выше в этих воспоминаниях, тетя Полли вздохнула и сказала:

– Да!.. здесь юдоль плача... Голод ума, голод сердца и голод души. Вот моток, в котором не знаешь, за какую нить хвататься!.. Дмитрий

Ростовский, впрочем, говорил в дворцовой церкви, что он извиняет, когда люди «за нуждою и утеснениями забывают о высшем». И теперь уж надо помогать одной низшей, грубой нужде. Лучше сделают когда-нибудь после другие, а не мы. Если половень сторел, я прошу ригу и помещу в ней больных. Это первое дело – их надо сейчас отделить. Мы уже отдохнули и теперь обойдем с Гильдегардой все избы и сосчитаем всех больных – и потом их сейчас же перевезть...

– Больные не пойдут со своих печей и лавок, – заметил отец.

– Ну, мы постараемся убедить их, чтоб они пошли, а в крайнем случае... мы их возьмем и унесем.

– Насильно?

Тетя посмотрела в глаза отцу и, помолчав минуту, ответила:

– А хотя бы и насильно!.. Как странно! Разве ты и я – мы все ими владеем по их доброй воле? Пустяки! того, кто тонет, берут за волосы и вытаскивают *насильно*... Это очень грубо, но совершенно необходимо. Соломы, верно, нет у вас, чтобы настлать кучами постеле-

лей по всей риге?.. Это очень жаль, но, может быть, есть конопляная костра? Есть? Ну вот и прекрасно, – обойдемся с ней... Пока мы с Гильдегардой будем на деревне, возьми на себя труд наблюсти, чтобы здоровые натаскали в ригу сухой костры и наклали ее для больных кучками... Вели делать этак... как большие котлеты, в рост человека, – и в головах – повыше, а к ногам – пониже. Через час там уже будут больные... Твоя жена не может нам помогать?

Отец тихо ответил:

– Она боится.

– Ну и не нужно ее... Кто боится, тем это и вредно. А мы сейчас же идем!

Проговорив это, она уже стояла и покрывала свою кучерявую голову мягким платком, а Гильдегарда Васильевна надевала свою высокую, с широчайшими полями, соломенную шляпу.

Тетя и Гильдегарда взяли в карманы крошечный карманный фонарик с рефлектором (для осмотра горла), флакон с какой-то жидкостью и записную книжку и ушли.

Отец предлагал им провожатого, но они не взяли и сказали, что надо зайти подряд в каждую избу.

– На вас могут напасть собаки.

– Полно, пожалуйста! Собаки такие почтенные животные – они знают, кто идет не с дурным намерением, и будут с нами вежливы.

И действительно, собаки повсеместно отнеслись к ним превосходно, но все-таки экспедиция их не обошлась без приключения: бурая корова Дементия, которую тетя оскорбила, назвав ее «неживым чучелом», доказала, что она еще жива, и когда Гильдегарда, проходя мимо нее, остановилась, чтобы поощрить ее ласкою, тощая буренка немедленно подняла голову, сдернула с англичанки ее соломенную шляпу и быстро удалилась с нею на середину самой глубокой и непроходимой

лужи, где со вкусом и съела шляпу, к неопи- санному удовольствию тети Полли, которая над этим очень смеялась, а англичанка, поте- ряв шляпу, повязалась своим носовым плат- ком и окончила обход в этом уборе.

До вечера было сделано множество вещей: в риге было настлано двадцать семь постелей из сухой костры, и на них уложили соответ- ственное число людей, освободив от произво- димого ими смрада тесные избы, в которых местились их семейства. При этой «эвакуа- ции» насилий не было, но имели свое место энергия и настойчивость обеих женщин, ко- торые сами при этом работали до изнеможе- ния и не пришли обедать до темного вечера.

Матушка долго и напрасно ждала их и сер- дилась. Обед весь перестоялся и был испор- чен. Отец стыдился покинуть тетю и англи- чанку одних с больными мужиками и бабами и тоже оставался в риге: он помогал им рас- кладывать больных и защищать их от сквоз- ного ветра в импровизированном для них ба- раке.

Им там было холодновато, но они тотчас же стали легче дышать, а в то же время без-

опаснее и легче дышалось и тем, которые остались у себя в избах.

Отец, тетя и Гильдегарда пришли в дом, когда уже был вечер, и ели скоро и с аппетитом, а говорили мало. На лицах у обеих женщин как будто отпечаталось то выражение, какое они получили в ту минуту, когда тетя проговорила:

– Это ужасно: круглый голод – голод ума, сердца и души... И тогда уже – всякий голод!

Ни тетя, ни Гильдегарда не были теперь разговорчивы и даже отвечали суховато и как бы неохотно.

Мать им сказала:

– Извините за обед... Он весь перешел, – вы сами виноваты, что дотянули обед до звезды.

Гильдегарда ее, кажется, не поняла; но тетя, разумеется, поняла, но небрежно ответила:

– До звезды!.. Ах да... и ты права: мы в самом деле очень любим звезды... их видеть так отрадно. Там ведь, без сомнения, живут другие существа, у которых, может быть, нет столько грубых нужд, как у нас, и потому они, должно быть, против нас лучше, чище, мень-

ше самолюбивы и больше сострадательны и добры...

– Но ведь это фантазия, – заметила мама.

Тетя ей не отвечала.

– Притом, мы все очень грешны, – зачем нам мечтать так высоко! – молвила мать, конечно без всякого намека для тети.

Тетя ее слышала и произнесла тихо:

– Надо подниматься.

– Да ведь как это сказать...

Матушка, кажется, побоялась сбиться с линии, а тетя ничего более не говорила: она озабоченно копошилась, ища что-то в своем дорожном бауле, а Гильдегарда в это время достала из темного кожаного футляра что-то такое, что я принял за ручную аптечку, и перешла с этим к окну, в которое смотрелось небо, усеянное звездами.

Мама вышла. Тетя закрыла баул, подошла к столу, на котором горели две свечи, и обе их потушила, а потом подошла к англичанке и тихо ее обняла. Они минуту стояли молча, и вдруг по комнате понеслись какие-то прекрасные и до сей поры никому из нас не знакомые звуки. То, что я принял за ручную ап-

течку, была концертина, в ее тогдашней примитивной форме, но звуки ее были полны и гармоничны, и под их аккомпанемент Гильдегарда и тетя запели тихую песнь – англичанка пела густым контральто, а тетя Полли высоким фальцетом.

Они пели «cantique»[6] на текст «Приходящего ко мне не изгоню вон» (Иоанна VI, 37), и слова их песни перед звездами (в русском переводе) были таковы:

*Таков как есть, – во имя крови,
За нас пролитой на кресте,
За верой, зреньем и прощеньем,
Христос, я прихожу к тебе.*

Я был поражен и тихой гармонией этих стройных звуков, так неожиданно наполнивших дом наш, а простой смысл дружественных слов песни пленил мое понимание. Я почувствовал необыкновенно полную радость оттого, что всякий человек *сейчас же*, «таков как есть», может вступить в настроение, для которого нет расторгающего значения времени и пространства. И мне казалось, что как будто, когда *они* тронулись к нему «за верой, зреньем и прощеньем», и *он* тоже шел к ним

навстречу, он подавал им то, что делает иго его благим и бремя его легким...

О, какая это была минута! я уткнулся лицом в спинку мягкого кресла и плакал впервые слезами неведомого мне до сей поры счастья, и это довело меня до такого возбуждения, что мне казалось, будто комната наполняется удивительным тихим светом, и свет этот плывет сюда прямо со звезд, пролетает в окно, у которого поют две пожилые женщины, и затем озаряет внутри меня мое сердце, а в то же время все мы – и голодные мужики и вся земля – несемся куда-то навстречу мирам...

О, если бы за все скорби жизни земной еще раз получить такую минуту при уходе из тела!

Этот вечер, который я вспоминаю теперь, когда голова моя значительно укрыта снегом житейской зимы, кажется, имел для меня значение на всю мою жизнь.

На другой день перед обедом, когда тетя Полли и Гильдегарда, с помощью отца и двух дворовых, перекладывали в риге больших на свежие подстилки из кострики, на которую разостлали рогожи, в ригу неожиданно вошел исчезнувший по осени с нашего горизонта майор Алымов, а за ним шли его легавый «Интендант» и мальчик с табачным кистетом и с трубкой.

Я почему-то сразу понял, что майор напрасно вошел сюда, что ему здесь не место, и точно то же самое, очевидно, подумал мой отец, который, увидав майора, слегка покраснел, передал мне в руки полоскательницу с уксусом и губкой, а сам пошел скорым шагом навстречу Алымову и, здороваясь с ним одною рукою, другою дал знак мальчику, чтобы он удалил отсюда собаку.

– Ах да!.. здесь гошпиталь! – заметил Алымов. – Это интересно. Я еще теперь только еду домой... Я всю зиму летал и своим мужикам не мешал жить, как им угодно... Ведь мы им, право, только мешаем... Они сами – чудесный

народ и всегда как-нибудь обойдутся... А вы представьте меня, пожалуйста, вашей сестрице: я об ней много наслышан.

Отец представил его обеим дамам, но те поклонились ему через плечо, не отрываясь от своего дела, и отец увел его в дом, а один из дворовых, подавая тете дегтярное мыло и воду, чтобы вымыть руки, доложил ей вкратце, что это за человек г. Алымов и какую он штуку сделал, вымочив в навозной жиже рожь, чтобы сделать ее несъедобной.

Тетя перевела это по-английски Гильдегарде, а та прошептала: «O, God»[7] и сконфузилась как ребенок.

Алымов уже не мог ожидать встретить у этих женщин симпатии и за обедом напрасно старался втянуть тетю в разговоры: она или молчала, или говорила с нами, то есть с детьми, а Гильдегарда вовсе не вышла к столу, потому что у нее разболелась голова.

Новый гость мог беседовать только с моими родителями, да и то отец, по-видимому, не рад был ни его визиту, ни говорливости, но мама в этот раз была к нему внимательна...

Она в душе недолюбливала тетю Полли,

которая всегда «брала все не в меру»: то была «проказница», а потом стала «фантазерка» и теперь развела у нас в доме близкое и опасное сношение с большими людьми, чего матан никогда бы не допустила!

Матан умела говорить немножко «в пику» тем, чьи «правила» ей не нравились, и присутствие майора Алымова давало ей прекрасный повод поиронизировать над причудами и выдумками «филантропок», затеи которых будто нимало не полезны для нашего народа, так как наш народ превосходно верит в бога, и бог спасет его от всяких бедствий.

Алымов был совершенно тех же мнений и при конце обеда резюмировал разговор:

– Вот я ни во что не мешался... И прекрасно!.. К чему?.. Я знаю, что всех спасти нельзя, и нечего пробовать! Не правда ли?.. А если нельзя помочь всем, то какое право мы имеем делать одним людям предпочтение перед другими!.. Не правда ли? Если уже спасать, то спасать *всех* людей!.. Это я понимаю... Не правда ли? Но если я этого не могу, то я не мешаюсь... Я отхожу в сторону и ничего не порчу, и... по крайней мере я не посеваю зависти

одних к другим, как это на Западе, где все гниет, а не понимают, отчего гниет? Не правда ли?.. Но у нас этого нет... И вот, когда я могу сделать серьезное и существенное дело, которое я, как хозяин, давно задумал, я его и делаю – я возвращаюсь на мой пост, и все мои крестьяне получают *ровно!* и если они не свиньи, – я оговариваюсь: если только они не свиньи, – то они, наверно, теперь поймут, что я для них сделал хорошее, а не дурное, и они благословят меня и отдадут мне долг из нового урожая!

Алымов уехал веселый и вдохновленный насквозь своим монологом, а ввечеру этого же дня к нам приехал из Послова старик крепостной кондитер «бывшей княгини Д*» – очень почтенный человек, обучавшийся своему ремеслу в Париже. Он желал быть «допущен на очи» к приезжим дамам и в витиевато сложенной речи изложил им, что он «раб своей госпожи, бывшей княгини Д*», и был за границей с покойным князем, и служил «у него при дворе» в Петербурге, а теперь прибыл от своей госпожи, которая «больна мнением»: она уже всю зиму не выходит из одной комнаты... в другую переступить боится... а если переступит, то сейчас забеспокоится и говорит: «Я, верно, что-то забыла!.. Скажите мне, что я такое забыла? Боже мой!.. какая я несчастная! Отчего мне никто не хочет напомнить?» А если сделает какое-нибудь распоряжение, то очень странное. «Вот и теперь она прислала меня вам доложить, что от графа пришли в посылке две шкуры от львов, которых он убил, и она желает подарить эти

шкуры бедственным людям для их постелей...» Поэтому его госпожа просит тетю и Гильдегарду, если они позволят, привезти к ним эти шкуры, и очень желали бы еще от- дать что-нибудь, «что может годиться»...

Наши дамы выслушали этот доклад обе вместе, но так как Гильдегарда говорила по- русски очень дурно, то отвечала за себя и за нее тетя Полли.

Она сказала:

– Бедным людям может годиться все, что им захотят дать, и даже львиные шкуры годятся, – мы их охотно возьмем и за них очень благодарим, но постилать их мужикам мы не будем.

– Конечно, сударыня! – с почтительным поклоном отвечал кондитер.

– Да, мы их отошлем в город и продадим их, а на эти деньги купим что понужнее.

– Разумеется, сударыня! Как же можно иначе-с! Я это и говорил компаньонке... Львиные шкуры мужикам!.. И много ли это... всего на двух человек... но ведь наша княгиня... оне... больны мнением и, – извините, – по- русски я не смел бы сказать о своей госпоже, а

скажу по-французски, – оне совсем как... perroquet...[8] От горя своего в последней разлуке с супругом оне стали совсем в детстве. Если бы вы осчастливили их видеть и сказали бы им, что надо сделать... оне бы рады... И даже, может быть, большие благодеяния могли бы людям сделать... Супругу их мы не можем достаться, потому что он здешних прав не имеет владеть живыми людьми, но мы можем поступить после ее смерти в раздел их дальним родственникам, в жестокие руки... Вы извините меня, что я как раб, и притом смею так говорить; но их племянники и племянницы пишут к их компаньонке и к иерею... и эти им отвечают... Все это на нашу беду!.. Если б госпожа понимала, что можно сделать, – оне бы сделали... Оне теперь двух картофелин в мундирах не докушивают – одну ссылают на подачку бедственным... Я их мнение понимаю: оне алкают добродетели... и не умеют... Оне сказали про вас компаньонке: «Какие это дамы приехали? Говорят, добрые... Ах, когда бы были на свете где-нибудь добрые люди!.. Я даже не верю: говорят – эти дамы всюду сами ходят и не боятся... Зачем я

так не могу?..» Их ведь так воспитали и... граф (мы их супруга называем для их удовольствия *графом* — они француз)... граф их робковат, и он им сказал, что надо опасаться голодных людей, — и сам уехал, — и княгиня всё боится и затомили себя в одной комнате в доме... Но если бы кто их посетил, к кому она, как к вам, расположились своею мечтою...

И старик вдруг упал на колени, воздел руки вверх и зашептал придыханьем, рыдая:

— Рабыни господни!.. Умилосердитесь... Разружьте совет нечестивых!.. Придите!.. Вложите ей мысль... Она ведь добра... Быть может, она завещает отпустить нас на волю!

А пока он рыдал и это высказывал, тетя и Гильдегарда переслались друг с другом своими говорящими глазами, и ответ их был готов.

— Он есть тут лёшад? — спросила Гильдегарда, касаясь своим пальцем до груди слуги.

Как квакерша, она никому не говорила «вы» и, не желая говорить «ты» тем, с кем это было неудобно, употребляла местоимения в третьем лице, касаясь при этом рукою того человека, к которому относились ее слова.

Кондитер был прислан с кучером в рессорной рассыльной тележке, и когда Гильдегарда получила ответ, что есть на чем ехать, она сейчас же встала и взяла со стола импровизированную шляпу, сшитую ей вчера тетею из серого коленкора.

Тетя сказала ей одно только слово:

– Конечно!

Им было достаточно этого слова, чтобы понять в нем все, что было нужно.

Но этот день, о котором я рассказываю, приводя к концу мои воспоминания о наших домашних событиях при проходах голодного года, был днем удивительных сюрпризов.

Гильдегарда, уехавшая в сумерки, не возвратилась к ночи.

Для расстояния в четыре или в пять верст, которое отделяло нашу деревушку от богатого села Послова, было довольно времени, чтобы съездить в два конца и иметь достаточно времени для делового разговора или для первого знакомственного визита к избалованной и одичавшей капризнице и недотроге, какою все, и не без основания, считали «бывшую княгиню» Д*. Но Гильдегарда не возвращалась.

Отца это обеспокоило, и он хотел непременно послать за ней свои дрожки в Послово, — даже и татап находила это необходимым, по тетья настойчиво потребовала, чтобы этого не делали.

Тетья сказала о Гильдегарде:

— Она без надобности нигде тратить время не станет, а если она находит, что ей там есть дело, то для чего ее отрывать оттуда *понашим* *соображениям*, когда она пошла туда по воле бога?

Матан было неприятно, что тетя так бесцеремонно думает, будто их туда и сюда посылает бог.

Она это ей и сказала, конечно с смягчающей шуткой, но та ей ответила совершенно серьезно:

– Я не возьму моих слов назад: бог действительно посылает туда и сюда всех тех, кто ищет везде исполнить не свою волю, а послужить другим.

Тетя согласилась только на то, чтобы отец послал верхового проехать до Послова и посмотреть: не случилось ли с Гильдегардой и ее кондитером что-нибудь в дороге? А негласно посланному ведено было как-нибудь разузнать: отчего не возвращается англичанка?

Посланный скоро возвратился и привез известие, что путники доехали благополучно и что англичанка у госножи Д* и выходила с ней на балкон.

Тетя улыбнулась и сказала:

– Вот видите: она ее уже выводит на чистый воздух. Утром Гильдегарда вернулась и сказала что-то тете очень тихо, – в ответ на что та покраснела и ответила:

– Для чего ей это делать? Я сама сейчас к ней поеду. Брат! дай мне лошадь в Послово.

Такой оборот был неожидан и невероятен: эти две женщины, соперничество которых когда-то было таким непримиримым, что никто не мог думать об их встрече, шли нынче навстречу друг другу и даже спешили одна другую предупредить в этом движении!..

Для чего это им было нужно?

Но тетя уехала, и цель ее поездки оставалась загадкой, а прежде чем она успела вернуться к нам, прискакал сам на себя не похожий Алымов.

Он был бледен, расстроен и растрепан, его кок упал и повис, галстук сбился набок, и венгерка расстегнута...

– А что я вам говорил! – начал он, входя в залу и ни с кем не здороваясь.

Отец посмотрел на него и сказал:

– Я не помню, что такое вы мне говорили.

– Я говорил вам вчера... и вашей сестре, что наши люди – это не люди, а это скоты!

– Ну, хорошо... я этого что-то не помню; но, впрочем, что ж дальше?

– Моя яровая рожь вся тю-тю!

– Как?

– Тю-тю вся до последнего зерна!

– Но ведь она была у вас под замком?

– Под большим американским замком, которого невозможно ни отпереть без ключа, ни сбить, не разорив двери.

– Ну и что же?

– Просверлили дыры в досках в полу и все выпустили.

– Когда же это?

– Почему же я могу это знать! Меня всю зиму не было дома... А Кромсай, подлец, которому я, как вольному человеку, поручал наблюдать и обещал дать ему за это теленка, говорит: «Должно быть, зимой помаленьку цедили». – «А куда же, спрашиваю, они ее дели?» – «Должно быть, говорит, слопали...» Ну, не скоты ли?.. Ведь она, говорю, была вонючая!.. я ее нарочно припоганил! «Так, говорит, поганковатую, верно, и слопали». А чего «верно», когда он сам же, подлец, ее и лопал!

– Почему же вы это узнали?

Алымов закашлялся, покраснев, и, вытащив из кармана венгерки мужичью трубку с медной крышкой, швырнул ее на стол и за-

кричал:

– Смотрите ее!.. Вот почему!.. Это его, под-
леца, трубка... Не правда ли? ее под амбаром
нашли... Он еще и всю усадьбу сжечь мог. Я
их теперь всех, подлецов, разнесу... Я им ска-
зал: «Я прямо поеду к исправнику и потребую
сюда временное отделение земского суда...
Пусть вас всех заберут и заморят!..» А он еще
этот Кромсайка... вообразите, дает мне вроде
родительского наставления... «Погоди, гово-
рит, ты еще млад человек, тебе еще много ве-
ку надо на земле жить да радоваться... а ты
себя укорочать хочешь... Это моя трубка, ни-
чего что она моя... У меня ее, брат, украли да
тебе подкинули... Это все вороги... народ во-
ровской – шельмы... А ты их не замай... про-
сти... бог с ними... Ты уж того, что пропало, не
воротишь, а потерпи – оно само вернее в дру-
гой оборот придет... А то укоротят тебе ве-
ку...» Вообразите, красным петухом меня пу-
гать стал!.. «Спалют, – говорит, – дело сусед-
ское: разве какому-нибудь жигуну огонька су-
нуть долго! У тебя постройка хозяйственная –
весь двор в кольце – запылает, и живой не
выпрыгнешь». Стращать меня!.. Не правда

ли? Но это неправда!.. Я не француз из города Бордо... я не поеду в Африку львов стрелять, а сейчас прямо к губернатору.

Отец стал его уговаривать и увел к себе в кабинет, потому что в это время возвратилась тетя и отец не хотел ей показывать Алымова, положение которого было и крайне смешно и жалостно.

Впрочем, на этот раз отец мой имел удачу: он успокоил майора и уговорил его побывать у губернатора, но не сильно жаловаться и лучше простить мужиков, не разыскивая, кто из них «полопал» припоганенную рожь.

Губернатор дал ему тот же самый совет, которому Алымов и внял, и смилостивился над мужиками, – он «простил их». А за то его бог простил, и пропажа его «возвратилась другим оборотом»: дивный урожай, следовавший за голодным сороковым годом, обсеменял его поля самосевом, и Алымов «сжал, где не сеял».

XXIV

Свидание же тети Полли с бывшей княгиней Д*, вероятно, имело что-то неудобопередаваемое. Тетя вернулась домой в сумерки, когда все мы, дети, сидели вокруг Гильдегарды Васильевны в отведенной для них комнате. Англичанка показывала сестре моей, как надо делать «квадратный шнурок» на рогульке, и в то же время рассказывала всем нам по-французски «о несчастном Иуде из Кериота». Мы в первый раз слышали, что это был человек, который имел разнообразные свойства: он любил свою родину, любил отеческий обряд и испытывал страх, что все это может погибнуть при перемене понятий, и он сделал ужасное дело, «предав кровь неповинную».

В это время в комнату вошла тетя Полли и, сказав всем нам общее приветное слово, опустилась на стоявшее в углу кресло.

– Что же вы замолкли? – сказала она, – продолжайте говорить, о чем вы говорили.

Гильдегарда Васильевна мельком взглянула на нее, и продолжала об Иуде, и закончила, что если бы он был без чувств, то он бы не

убил себя, а жил бы, как живут многие, погубивши другого.

Тетя прошептала:

– Правда.

Англичанка спустила паузу и сказала:

– Ты довольна собой или нет?

Тетя Полли хрустнула пальцами руки и отвечала:

– Не знаю, но... она так трогательна, она переносит на меня такие чувства, что мне хочется плакать.

В голосе у нее в самом деле звучали слезы. Англичанка опять дала паузу и потом тихо сказала:

– Титания...

Но тетя перебила скороговоркою:

– Ах, конечно, конечно!.. Титания, дорасветная Титания, которая еще не видит, что она впотьмах целовала... осла!..

– Я этого не сказала, – заметила, смутясь, Гильдегарда.

– Ничего, мой друг! Ничего! я знаю, что ты не хочешь, чтобы я «предавалась воспоминаниям», ну и карай меня!

Тетя ласково кинула на плечи англичанке

свои руки и сказала:

– Ты Петр, и это значит: «камень»; и ты блаженна, – но прости нас грешных!

И она, кажется, хотела спуститься и стать на колени, только Гильдегарда успела схватить ее под плечи и воскликнула:

– Полли! Полли! Неужели я тебя оскорбила?!

– Нет, – отвечала тетя, – мне просто... хочется плакать.

Они обнялись, и тетя два раза всхлипнула, потом утерла слезы и, улыбнувшись, сказала:

– Вот когда *аминь!*

Свидание это имело также и другие разнообразные добрые последствия, из числа которых два были очень замечательны. Первое состояло в том, что больных в нашей местности с этих пор уже не приходилось более класть на кострике в холодной риге, потому что «бывшая княгиня» построила «для всей местности» прекрасную больницу и обеспечила ее «на вечные времена» достаточным содержанием; и второе: слезы кондитера, рыдавшего и воздымавшего руки к «рабыням господним», были отерты: в Послове было написано

завещание, дававшее после смерти Д* «всем волю».

Это было величайшее событие во всей губернии, которая такого примера даже немножко испугалась.

А кроме того, в день отъезда от нас тети и Гильдегарды, «бывшая» Д* сама приехала к нам, чтобы еще раз видеть обеих этих женщин.

Я ее помню, эту «Титанию», – какая она была «нетленная и жалкая»: вся в лиловом бархатном капоте на мягчайшем мехе шеншелб, – дробненькая, миниатюрная, с крошечными руками, но припухлая, и на всех смотрела с каким-то страхом и недоверием. Ее лицо имело выражение совы, которую вдруг осветило солнце: ей было и неприятно, и больно, и в то же время она чувствовала, что не может теперь сморгнуть в сторону.

Мне показалось, что вот это и есть он сам – воплощенный голод ума, сердца, чувств и всех понятий.

Тете некогда было с нею теперь заниматься, потому что, узнав об их отъезде, пришло множество больных, и все ожидали у балко-

на, на котором тетя и Гильдегарда их осматривали, обмывали и, где было необходимо, — делали проколы и надрезы.

«Бывшую» Д* посадили в кресло на этом же балконе. Она сама не хотела отсюда удалиться и смотрела с величайшим вниманием на все, что делала тетя, и, наконец, даже сама захотела принять хоть какое-нибудь непосредственное участие и сказать человеку хоть теплое слово.

К этому и представился повод в том случае, который особенно поразил внимание ее голодного ума.

В числе женщин, пришедших с больными детьми, стояла баба неопределенных лет, худая, с почерневшей кожей; она была беременна и имела при себе трех детей, из которых двое тянулись за материну юбку, а третье беспомощно пищало у ее изможденной груди.

У всех детей лица были в красных отмётках наружной болезни, которую в крестьянстве называют «огник».

Это поразило даму, и она устремила на бабу пристальный взор и, не умея соразмерять голоса, сказала ей строго:

– Это зачем столько?!

– Что, матушка?

– Зачем столько... детей?

– Да ведь как же мне быть-то? замужем я... сударынька!

– Ну и что же такое!.. И я замужем... Детей нет.

– Ваше дело иное, сударынька...

– Отчего дело иное? Пустяки!

– Как пустяки, болезная: вы живете в таких-то широких хоромах... Накось какое место... занимаете... простор вам... разойдетесь и не встретитесь; а у нас избы тесные, всё мы вместях да вместях...

– Ну и не надо!

– Да не надо, а приключается.

Тут сразу и баба и дама остановились, и тетя расхохоталась, а Гильдегарда сконфузилась. Тогда и «бывшая» Д* что-то поняла и, осмотрев бабу в лорнет, проговорила:

– *Saves-vous: elle est maigre, mais...*[9]

Дама вдруг вздрогнула, несколько раз перекрестилась и прошептала:

– *Retire-toi, Satan*[10]

Прощаясь с тетей, дама еще выкинула претрогательную штуку, которая была бы в состоянии очень сконфузить тетю, если бы та не была находчива.

Когда тетя простилась и с этою дамою и со всеми нами, и перецеловала всех окружавших ее дворовых женщин и горничных девушек, и уже занесла ногу на спускную ступеньку коляски, – «бывшая» Д* ринулась к ней, как дитя к страстно любимой няньке, и закричала:

– Arretez! Arretez![11]

– Что вам угодно, princesse?[12]

– Вот именно... вот и об этом... Если можно... я могу буду вам это отдать?

Она держала вынутый из кармана капота конверт.

– Что это такое?

– Мой testament...[13] я всех на волю.

– Ах, это надо послать в опекунский совет!

– Да, вот уж это именно вы... Я боюсь сделать именно так, как не надо.

Тетя взяла конверт.

– И еще... мне скажите, – проговорила и запнулась Д*: – что я могу буду или нет к вам написать?

– Пожалуйста!

– И вы мне будет писать ответ!

– Непременно!

– Тогда... еще одно... Я могу буду вас попросить...

– Все, что угодно.

– Не пишите мне *princesse*, а... напишите мне...

– Просто ваше имя?

– Нет!.. напишите мне просто: *ты!*

Тете, вероятно, показалось, что она ослышалась, и она недоумело и тихо спросила:

– Что?

А та ей робко и краснея прошептала:

– «Ты»! я хочу: «ты»!

Тогда тетя вдруг вся вспыхнула, нагнулась к ней, поцеловала ее и сказала ей твердо и громко:

– Хорошо: я тебе напишу «ты» и буду о тебе думать с любовью, которой «ты» стоишь.

Тут и произошло для финала нечто смутившее тетю, потому что бывшая ее соперни-

ца и «бывшая» Д* вдруг сжала в своих руках и поцеловала *ее руку!*..

Но тетя Полли, я говорю, была находчива: она успела взять обе ее руки, и обе их поцеловала и сказала:

– Будь счастлива – и прощай, а то я, пожалуй, при всех разревусь здесь, как дура!

.....

Подозревали тогда, что в мозгу Д* в это время была уже такая путаница, что она не узнавала в тете Полли лицо, некогда ее сильно уязвившее; но это была неправда. Компания этой дамы рассказывала, что, сделав знакомство с тетей, Д* постоянно ею бредила, и искала случая говорить о ней, и всякий разговор заключала словами:

– Что же... ее ведь не любить нельзя... Я его понимаю... Нельзя!..

А когда Д* вскоре после этого умерла, то в мелких вещах, завещанных ею разным лицам, нашли конвертик, ею самую надписанный на имя тети Полли. Он был тщательно-претщательно обвязан шелковым шнурочком и припечатан два раза, и в нем оказался миниатюрный портрет «робковатого» стрел-

ка львов, за которого они когда-то взаимно ненавидели друг друга, и потом, вероятно, обе почувствовали, что ненавидеть друг друга ни за что на свете – не стоит!

Чувствительные люди, которым сделалось известно об этом подарке, были этим очень тронуты и поняли дело так, что миниатюра подарена тете Полли, без сомнения, с тем, чтобы она перешла княжне Вале, которая приходилась слишком сродни тому, чьи черты передавала миниатюра; но тетя как-то всю эту тонкость проманкировала, и о миниатюре не осталось ни памяти, ни следа.

Эта Титания, очевидно, уже не придавала никакого значения миниатюрам прошлых увлечений, которые померкли в лучах озарившего ее великого Солнца Любви, светящего в вечность...

XXVI

Голодный год прошел: злаки взошли, и люди и животные стали сыты. Хлеб созрел необыкновенно рано. В половине июня мужики уже парили в горшках рожь и ели ее немолотую, а к Петрову дню пекли «новый хлеб».

Петров день – это был «наш престол» и «наш праздник». Духовенство обходило с образами приход, пело молебны и собирало «новину». На улице опять «шла гульба», было «сыто и пьяно»; высоко «подмахивали качели», и молодые люди, стеной наступая друг на друга, пели: «А мы просо сеяли!» А другие отвечали: «А мы просо вытопчем. Ой, дид Ладо, вытопчем!» А за ручьем на косогоре, где был кабак, разливало: «Наваримте, братцы, пива молодого...»

Пошла опять знакомая струя, но эти звуки, долетавшие в нашу детскую, мне уже не были милы. Я уже рассуждал, чту это за «дид», чту за «Ладо»? Зачем одни хотят «вытоптать» то, что «посеяли» другие? Я был тронут с старого места... Я ощущал голод ума, и мне были ми-

лы те звуки, которые я слышал, когда тетя и Гильдегарда пели, глядя на звездное небо, давшее им «зрение», при котором можно все простить и все в себе и в других успокоить.

*Впервые опубликовано – журнал
«Книжки недели», 1892.*

Примечания

Репутація(*франц.*),

[^^^]

Чтобы иметь ясное понятие, как относился к этому «мир», стоит припомнить, как относились к своему «стоянию» те, кто претерпел его ближайшим и непосредственным образом. Когда я посетил родные места года через три после благословенного дня «освобождения», мне привелось посетить с одним из мировых посредников прекрасную сельскую больницу, в которой «по усердию» трудилась в черных работах пожилая женщина очень крупного роста, по имени Стеха. Она же ходила и на деревню «обматывать мертвых», тоже не по нужде и не за плату, а «по усердию». Ей было уже лед за пятьдесят, и она была сильна, велика и смахивала немножко на мужика. У нее на деревне было свое хозяйство – двор, скотина, земля, дети и внуки, и даже, кажется, правнуки. Пользовалась она у всех почетом, – говорили о ней: «Стеха души не убьет, – Стеха не соврет, – Стеха справедливая». И все знали, что она «угождает больным» и «покойников убирает только для господ, а ее душа чиста, как стакан светится». А

эта самая Стеха, – несомненно имевшая все те добрые качества, которые ей приписывали, – рассказывала мне о голодном годе при своей пожилой уже дочери и при взрослой девушке и внучке, «ничего не прибавляючи и не отбавляючи», и в этом рассказе прямо о всех своих сверстницах, и о себе говорила: «всех нас, милый, восемь бабенков молоденьких было, и всех нас кошкодралы у колодца уговорили: „Поедемте, говорят, мы вас в Орел свезем, там у колодцев лучше здешнего“. Мы все, дуры, и поверили и пошли, а хорошего только и было, что прокормилися; ну да ведь тогда большего-то грех было и спрашивать. О нравственной стороне „инцидента“ Стеха будто вовсе не думала, а когда я наклонил вопрос в эту сторону и побудил ее выразить свое мнение, – она покопала веретеном под головную повязкою и сказала: „Что“ говорить-то? Ведь голодная смерть страшней сраму... Все же лучше было шкуру свою продать, чем душу».

А уж что она разумела, под продажей души – этого я не знаю. О достоинстве взглядов этой женщины я вообще не могу и не хочу су-

дить, потому что боюсь, как бы не согрешить перед Стехой и другими ей подобными грешницами более тяжело, чем весят все их согрешения перед «могущим спасти всех» (Иак. IV).
(Прим. автора.)

[^^^]

Наемный заместитель рекрута, которому следовало идти в службу по очереди или по жеребью, почитался в народе за человека не только «пропащего», но и *презренного*: о наемщике никогда не говорили с жалостью, а всегда, как о палаче, говорили с омерзением, и от солдат ему не было иной клички, как «продажная шкура». Иметь общение с наемщиком считалось так же противно, как иметь общение с палачом, которому, по мнению простолюдинов, будто даже «не дают причастия». А как таково было всеобщее презрительное отношение к этим людям, то, разумеется, об этом знали и сами те, кто нанимался в солдаты, и потому, за весьма редкими исключениями, это были «люди отчаянные» — зашалившиеся, загулявшие, сбившиеся с пути или чем-нибудь особенно несчастные, по какому-нибудь роковому стечению семейных обстоятельств стремившиеся к гибели. Эти последние и составляли жалостное исключение, да к их числу можно еще придать «крепостных», которые, впрочем, могли нани-

маться только с согласия своих владельцев, и то после рискованной процедуры с освобождением их на волю. Случалось, что вольный человек «выкупал крепостного» с тем, чтобы он после пошел в рекруты за детей этого капиталиста, и выкупаемый крепостной обещался это исполнить, но, получив отпускную в свои руки, отказывался от «охотничания» и предлагал выкупщику отработать заплаченные за него деньги или – еще проще – благодарил его и уходил иногда с обещанием «помолить бога», а еще чаще с бранью и насмешкою. Нанявшийся же «распутник» с распутства начинал, и в распутстве продолжал все время своего «сговора» с хозяином. Зачинал это в Орле пропащий парень с того, что появлялся в безобразном и, всего вероятнее, в безумном состоянии, в торговый день (в пятницу), на Ильинской площади и, остановясь у весов, кричал громким голосом: «Жару!» Его «схватывали хваты» и сейчас же «мчали» его в близстоявший «Подшиваловский трактир» и сразу же «поддавали ему жару», то есть поили его водкою и приглашали для «куражения» его подходящего свойства женщин, или

«короводниц», имевших вблизи свое становище у мостика на Перестанке. Хороводницы, или «короводницы», являлись скоро, и не одна, а две или три, из самых отчаянных и самых бесстыжих – «согласных с охотником гулять». Они сейчас же брали пьяного парня в свои раздольные объятия и, обласкав его «до воли», начинали его «вывозить». Обвязав его красными платками, его везли «катать» на извозчике, причем «короводницы» держали охотника на сиденье извозчичьих дрожек или саней, а сами лепились вокруг него, обнимали его, и громко пели бесстыжие песни, и говорили в народ сальности, и дергались, и приплясывали; а оку раженный ими охотник сидел осовелый как дурак или по временам безумно вскрикивал и вопил: *«Еще жару!»* Таким образом, парень уже был афиширован на весь город. А в это время, как одни хватывали его так «окручивали», другие уже приискивали хозяина, которому наемщик нужен, и сдавали его ему с вознаграждением себя за труды и за расходы по всей первоначальной обстановке дела. Такая безобразная гульба продолжалась все время до сдачи наемщика в рекруты,

и он «давал себя знать» своему хозяину, который вынужден был исполнять все выдумки и капризы пропадающего парня и тотчас же бросал его, когда тому забривали лоб и он делался «продажною шкурою», которую на службе очень любили «выколачивать». До этого «погибельного состояния» человека доводили всегда при необходимом и неизбежном участии женщин, именно сих вышеназванных «короводниц», которые чаще всего сами и наводили слабых людей «на эту путь», то есть научали их кричать: «Жару!» Склонного к загулу дьячка Пашу очень нетрудно было провести этим путем, что Кромсай, вероятно, и обделал. (Прим. автора.)

[^^^]

4

Неравный брак (*франц.*).

[^^^]

5

Число глупцов бесконечно (*франц.*).

[^^^]

6

Гимн, песнопение (*франц.*).

[^^^]

О боже! (*англ.*)

[^^^]

Попугай (*франц.*).

[^^^]

9

Знаете: она тощая, но... *(франц.)*.

[^^^]

Отыйди, сатана! (*франц.*).

[^^^]

Остановитесь! Остановитесь! (*франц.*)

[^^^]

Княгиня (франц.).

[^^^]

Завещание (*франц.*).

[^^^]